

# НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
И НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ИЮЛЬ.

№ 7.

---

## СОДЕРЖАНИЕ:

	Стр.
Л. Н. Толстой. — Варианты текстов „Война и Мир“ . . . . .	3
Павел Низовой. — В луговых просторах, повесть . . . . .	33
Е. Бражнев. — Партизанщина (из книги „Стучит рабочая кровь“). . . . .	61
Стихотворения: — В. Маяковский и С. Городецкий . . . . .	85
Андрэ Марти. — Черноморское восстание (воспоминания) .	89
Н. Кузьмин. — Наша тактика и наши враги. . . . .	102
Проф. О. И. Бронштейн. — Новые завоевания медицины. .	118
Анри Барбюс. — Современная французская литература. .	128
П. К. Козлов. — Археологические открытия монголо-тибет- ской экспедиции П. К. Козлова в Северной Монголии. .	132
По Советской земле. — Григоров. — Современное Поше- хонье. . . . .	133
Библиография. . . . .	152

ИЗДАНИЕ „ИЗВЕСТИЙ ЦИК СССР и ВЦИК“

МОСКВА — 1925

Москва. Главлит № 38.326.

25.000 экз.

---

„Мосполиграф“, 16-я типография, Трехпрудный, 9.

Авторские права на сочинения Л. Н. Толстого наследникам не принадлежат. При перепечатках текстов Л. Н. Толстого редакция просит органы печати ссылаться на „Новый Мир“.

## Новые тексты из романа „Война и Мир“ \*)

Х. Обед у молодых кн. Волконских.

(Одно из начал романа.)

**Л**етом 1805 года, в то самое время, когда только об'являлась Россией первая война еще непризнанному тогда императором Наполеону, в Петербурге во всех гостиных только и было речи, что про Буонапарте, его поступки и намеренья.

За обеденным столом князя и княгини Волконских собралось небольшое и разнообразное общество.

В 1805 году князь Андрей Волконской был молодым человеком и еще более молодым супругом. Возвратившись из Турецкой кампании, в которой он, несмотря на свою молодость и всем неприятную аристократическую, наследственную от отца гордость, доходящую до смешного высокомерия, умел заслужить репутацию хотя и неприятного, но отличного офицера, он имел в петербургском высшем свете блестящий успех, женился на первой в то время по красоте и богатству невесте Лизе Мейнен и, желая пожить для молодой жены несколько времени в Петербурге, поступил ад'ютантом к тогдашнему генерал губернатору. Как холостым, так еще более женатым человеком, молодой князь вел жизнь безупречной нравственной чистоты в противность обычаю тогдашней молодежи. Он держал себя всегда далеко от товарищей, особенно удалялся кутил и за всю его жизнь никто не мог сказать, чтобы знал за ним хоть ничтожный долг или вечер, проведенный за вином или картами, или волокитство за замужней женщиной или девушкой, на которой бы он не имел намеренья жениться. Как и все молодые супруги, кн. Андрей любил играть новую для себя роль хозяина дома, любил принимать и к нему ездило все то, что считалось тогда замечательнейшим в тогдашнем петербургском обществе. Как и всегда в молодых домах, у Волконских общество собиралось весьма разнообразное: военные, дипломаты, вновь возникшее тогда сословие светских чиновников-бюрократов, иностранцы, ученые и даже артисты. Молодой князь совершенно одинаково принимал важного сановника и

---

\*) Окончание. См „Н. М.“ № 6.

бесчиновного господина, которого он почему-нибудь считал достойным своего внимания. Со всеми он обращался с видом усталости и пренебрежения, но с приемами утонченной учтивости, сделавшейся его привычкой.—Глядя на этот всегдашний вид покорной и скучающей усталости, с которой красивой молодой адъютант, под руку с хорошенькой женой, лениво волоча ноги, входил на вечера и рауты (на балы он не ездил) или с которой он принимал у себя знакомых гостей и поддерживал разговор, невольно приходил вопрос: для чего он хлопочет, когда все это ему так скучно? но вопрос этот не приходил в голову тем, кому нравился молодой князь. А таких людей было не мало. Вообще все знавшие этого молодого человека разделялись на два совершенно противоположные лагеря: или его очень любили и восхищались им, или его ненавидели и смеялись над его ничем неоправданной гордостью и ломанием; но как те, так и другие уважали его и любили быть с ним в хороших отношениях.

В Петербурге жил в то время известный изгнанник аббé Piatoli. Князь Андрей, встретив его, как бы нечаянно пригласил к себе обедать. Кроме аббата обеды в этот день у Волконских старушка тетка княгини, один светский молодой чиновник, приверженец Сперанского, считавший молодого князя великим человеком только потому, что сам князь видимо считал себя таким. Пятый прибор оставался пустым, когда по английскому обычаю, по которому все было учреждено в доме князя, сели за стол в  $\frac{1}{4}$  7-го. Прибор этот назначался другому страстному приверженцу князя, Петру Ивановичу Медынскому. Кн. Андрей, несмотря на свою чопорность, два раза повторил лакею впустить Петра Ивановича, ежели он придет во время обеда.

Петруша Медынской, известный в то время под именем М-г Рieg'a, был незаконный единственный сын известного богача, кн. Кирилла Владимировича Безухова, воспитывался вместе с кн. Андреем в Москве и, несмотря на то, что не имел тогда еще никакого общественного положения и был несколькими годами моложе кн. Андрея, и был всем известен за беспутнейшего малого, был лучшим другом молодого князя. Происходило ли это оттого, что кн. Андрей любил всегда иметь около себя поклонников, а Петруша Медынской считал кн. Андрея образцом всяких совершенств и добродетелей и наивно от всей души обожал его, как это часто бывает с молодыми людьми, или оттого, что эти две натуры были столь противоположны что дополняли одна другую, но никогда никто, даже жена, не выводили так молодого князя из его притворного, привычного, или естественного состояния усталости или апатии, никто не мог вызвать на его лице той милой, доброй и обаятельной улыбки, открывавшей прекрасные зубы, как добродушный и вы-

[„Небольшой пропуск в тексте; не хватает, вероятно, одного листка“.]

Молодой чиновник принадлежал к клике Сперанского. Тогда это был первый чиновник не дипломат, которого m-г Pierre видел в свете. Хотя кн. Андрей вовсе никогда никого не поражал особенным блеском ума, он любил ум и образование и в его гостиной встречалось все, что бывало замечательного в Петербурге. Чиновника действительно считали замечательным молодым человеком в бюрократическом мире. Скромный же, чистенькой старичок-иностранец был еще более замечательное лицо. Это был abbé Piatoli, которого тогда все знали в Петербурге. Это был изгнанник, философ и политик, привезший в Петербург проект совершенно нового политического устройства Европы, который, как сказывали, он уже имел счастье через кн. Адама Чарторыжского представлять молодому императору.

Прибор для m-г Pierre'a стоял накрыт, и новенькой, как и все, что было в доме, стул был придвинут высокой резной спинкой к краю белейшей и тоже новой скатерти. На стенах, на серебре, на белье, на мебели, на слугах и их жилетах, на рамах и задвижках окон, на коврах, на сертуке и эполетах хозяина, на серьгах и воротничке хозяйки, на всем в этом доме был тот особенный светлый отпечаток, который бывает у молодых. Все, от отношения мужа к жене и их положения, до последнего ковра и лампы на лестнице, все было свежо и ново и все говорило: мы тоже молодые князь и княгиня. От этого в доме было особенно весело. — M-г Pierre, кроме симпатии к хозяевам, от этого, может быть, еще больше любил бывать у Волконских.

— „Извините, что я опоздал“, сказал, подходя к руке княгини, бубуркая ртом, толстый юноша, как будто рот у него был набит чем-то, доброй улыбкой открывая испорченные зубы, и таким тоном, что видно было, он знал, что его извинят.

— „Когда ты уедешь из Петербурга, mon cher, чего я очень желаю для тебя и очень жалею для себя“, сказал кн. Андрей по-французски и, как и всегда, тихим приятным и ровным голосом, спокойно округляя периоды своей речи, — „тогда ты сразу извинишься за все, это будет для тебя удобнее.— Суп подать!“ прибавил он лакею как будто с трудом по-русски, грубым неприятным голосом, один звук которого составлял оскорбление.—

— „Тогда вы вместе и извинитесь в том, что вы мне забываете привезть Corinne, которую обещали“, сказала княгиня звонким голоском и улыбаясь яркой улыбкой брюнетки с белыми прекрасными зубами.—

Pierre, севший было на стул, вскочил и всплеснул руками.

— „Ах, забыл! Pardon, Princesse. Опять забыл!—Нет, я поеду сейчас—привезу“, прибавил он вопросительно.

Княгиня засмеялась так, что все засмеялись с ней вместе.

— „Нет, сидите обедайте!“— „Вы знаете“, прибавила она: „что этот молодой человек вот уже 9-й месяц едет завтра в Москву. Так?“—

— „Так“, улыбаясь и печально махнув рукой подтвердил Pierre.

Барышня, старичок иностранец и чиновник прилично и приятно улыбались, глядя на эту домашнюю сцену, которая видимо была очень знакома всем. Видно было, что М-г Pierre уже давно освоился с своей ролью беспутного, беспорядочного, рассеянного, но милого и любимого друга дома, молодой князь—с ролью покровительствующего, снисходительного друга, а княгиня—с ролью невинно, кокетливо задиряющего и ласкающего друга-женщины.

Разговор зашел о том, о чем все тогда говорили; о чем говорят всегда, думая говорить о важных предметах: о преобразованиях, замышляемых в России—о конституции.—

— „Как же вы хотите, Петр... Кирилыч, кажется?“ говорил чиновник: „чтоб такое преобразование могло совершиться быстро. Теперь, положим, учрежден Совет и Министерства и они имеют свои недостатки. Кто в этом спорит. Не так ли, князь?“

— „Je vous avoue, mon cher“, пропустил сквозь зубы князь, отламывая красивой рукой корочку хлеба, que je suis parfaitement indifférent au nom, Collège ou ministère; il nous faut de gens capables. Et nous n'en avons pas <sup>1)</sup>. — Он говорил ленивым тоном старого вельможи, который смешон был в нем, в молодом человеке, но говорил с такой уверенностью, что его слушали.

— „Извините, князь. Ежели теперь“, продолжал чиновник, видимо отвечая преимущественно на те возражения, которые он привык слышать от большинства старых служащих, а не на те, которые делали ему: „ежели теперь не замечается единства и представляется разрозненность в новых учреждениях, то это происходит от того, что только часть их могла быть введена в действие.—Положим, вы бы портного упрекали за то, что рукава фрака безобразны и не в пору, когда они не пришиты еще к фракту. Не так ли?“

Князь, в ответ на пристально и долго устремленный на него взгляд, не моргнув, не изменил своего красивого спокойного лица и продолжал прямо смотреть на чиновника. Княгиня утихо улыбалась.

— „Согласитесь“, продолжал чиновник: „что нельзя требовать, чтобы работы по такому громадному делу окончены были вдруг. Где у нас люди, я с вами согласен“, говорил чиновник за 50 лет тому назад, точно так же и совершенно в том же смысле, как говорят это теперь, т.-е. стараясь показать, что из

<sup>1)</sup> Признаюсь, мой милый, мне нет никакого дела до названия: коллегия, министерство; нам нужны способные люди, а их-то у нас и нет.

людей есть один только я да еще несколько: „где у нас люди? Ведь Михаилу Михайловичу (Сперанскому) верно никто не откажет в желании добра и любви к отечеству; однако он роботает почти один и что ж мы можем помочь ему?“

Pièrre по наружности составлял резкую противоположность кн. Андрею. В сравнении с тонкими, твердыми и определенными чертами кн. Андрея черты Пьера казались особенно пухлы, крупны и неопределенны. Особенно оживленные и умные глаза, отчасти скрытые очками, составляли главную черту его физиономии. Кн. Андрей в насмешку называл его Мирабо. Взглянув на его лицо, всякой невольно говорил: какая умная рожа! А, увидав его улыбку, всякой говорил: и славный малый должно быть! Лицо его, вследствие серьезности выражения его умных глаз, казалось скорее угрюмо, чем ласково, особенно когда он говорил, но стоило ему улыбнуться и открыть порченые зубы, чтоб вдруг лицо это принимало неожиданно такое наивно, даже глупо доброе выражение, что, глядя на эту улыбку, его даже жалко становилось. И улыбался он не так, как другие улыбаются, так что улыбка сливается с неулыбкой почти незаметно. У М-г Pièrre'a улыбка вдруг, как будто по мановению волшебника, уносила обыкновенное, умное, несколько угрюмое лицо и приносила другое, детски, наивно доброе, просящее прощения как будто, и все отдающееся лицо и выражение.

Когда М-г Р. начал возражать, чиновник спокойно замолк, в уме как будто приготавливаясь разбирать по номерам и статьям возражения.

Подвести по номерам возражения М-г Pièrre'a было очень затруднительно. Он имел свойство обобщать предмет и выводить спор из мелочей подробностей, и потому часто впадал в неясность; он и не думал спорить о том, хорошо ли, дурно ли работает Михаил Михайлович или Иван Иванович? что было лучше: коллегии или министерства? даже вопрос об ответственности министров был для него ничтожен. Он говорил, что конституция и вообще права и большая степень свободы не может быть дана народу, но должна быть взята, завоевана им, как она была завоевана в Англии и Франции. Он говорил, что конституция, данная по прихоти монарха, может быть и отнята по той же прихоти, и что поэтому учреждение Совета и министерств не принесет пользы. Аббат стал смотреть внимательно на Pièrre'a. Чиновник испуганно посмотрел:—Что ж отменено? Напротив, в эти 5 лет все с учреждения министерств, отмены Советов идет вперед.—

— „Я не упрекаю новые учреждения в отсутствии единства“, говорил он, глядя через очки, что всегда было признаком большого оживленья: „но я говорю, что все эти измененья дают ложные понятия всем нам, когда еще мы не знаем своих прав. И не знаем сами, чего требовать. В государстве, где

миллионы рабов, не может быть мысли об ответственных министрах и представительной каморе депутатов“.

Во время обеда и после его, чиновник и Р. спорили. Княгиня, занимая других гостей, изредка делала вид, что слушает споривших, но занималась преимущественно рассматриванием различных выражений, которые принимало лицо Pierr'a, и, улыбаясь, украдкой указывала на него мужу, особенно в те минуты, когда Р. был более всего оживлен и потому смешон для веселой маленькой княгини. Старичок иностранец делал головой знаки спокойного одобрения, но видимо не хотел вступать в спор. Молодой князь изредка вставлял в разговор презрительную французскую шутку и видимо не скрывал, что скучал. Молодой князь был один из тех людей, которые никогда не тягостятся молчанием и, глядя на молчание которых, вам никогда не придет в голову упрекнуть их в этом молчании, а вы всегда упрекнете себя. Он вообще говорил очень немного. Иногда о городских слухах, о родных, о придворных делах, и больше всего о войне и военном деле, которые он знал очень хорошо, о Наполеоне, которого он, как-то странно соединяя эти два понятия, ненавидел как врага законной монархии, и обожал, как величайшего полководца мира. При всех же остальных разговорах он больше спокойно слушал, как будто отдыхая. И только наводил других на разговоры, которые ему казались занимательны.

Старичок чистенькой, аббат, держал себя все время обеда учтиво, уверенно и скромно, как будто чувствуя, что он знаменитость, которой не нужно себя выказывать. Несмотря на эту неловкую роль знаменитости, старичок иностранец поражал однако своим односторонним умным, сосредоточенным выражением горбоносого сухого лица. Видно было, что этот человек знал, или думал по крайней мере, что уж так насквозь знает людей, что с первого взгляда он составлял о них мнение и ими не интересовался, и что уже давно, давно у этого человека была одна мысль, для которой одной он жил, считая все остальное ничтожным. С этим вместе у него было спокойное уменье обхождения, очевидно приобретенное не рождением и воспитаньем, как у светских людей, но долгим навыком обращаться с людьми всякого рода. Он с учливой, но оскорбительной по своей давнишней притворности улыбкой всегда обращался к дамам и с проницательным спокойным взглядом, не останавливавшимся ни на чем, обращался к мужчинам.

Княгиня, желая ввести его в разговор, спрашивала его за столом, как нравятся ему русские кушанья, как переносит он климат Петербурга и т. п. вопросы, которые всегда делают иностранцам; он на все с своей для дам приготовленной улыбкой отвечал коротко и вновь молчал он, прислушиваясь к разговору m-г Pierr'a, которого личность повидимому заинтересовала его настолько, насколько еще могло что-нибудь заинтере-

совывать этого, видимо прошедшего столько превратностей, странного итальянца. Когда вышли из стола, князь спросил, не курят ли. Все отказались, а аббат попросил позволения из крайней учтивости понюхать. Он достал золотую табакерку с изображением какой-то коронованной особы, понюхал, уложил табакерку в жилетный карман и подсел ближе к м-г Риег'у, перевертывая на сухом, старом, белом пальце дорогой изумрудный перстень, очевидно тоже подарок важной особы. Экс-аббат пользовался видимо прекрасным здоровьем свежей старости и, испытывая приятное чувство пищеварения после хорошего обеда, выпив чашку кофе, пожелал видимо посондировать этого курчавого умного юношу, столь легкомысленно опровергающего все, на основании идей революции. Он остановил его в то время, как м-г Риеге доказывал, что основанием всего государственного благоустройства может быть только признание за каждым гражданином прав человека, *les droits de l'homme*, сказал он.

— „Позвольте мне сказать“, сказал экс-аббат своим итальянским выговором с учтивым движением головы и тихим голосом, но таким, который невольно заставил Р. остановиться и выслушать речь старичка: „позвольте мне заметить, что права человека были вполне признаны во Франции, но мы не можем сказать, чтобы это государство пользовалось образцовой свободой ни во времена Конвента,—он остановился—ни во времена Директории,—он остановился—ни теперь“. Он улыбнулся.

Чиновник, уже давно обобщениями м-г Риег'а выбитый из своей колеи обсуждения канцелярских работ, с трудом поддерживавший спор, с благодарностью обратился молча на Риег'а и иностранца, как будто говоря: я это самое и говорю.

— „Кто же виноват?“ отвечал м-г Риеге с тою же горячностью, с которой он спорил против чиновника, и шамкая ртом и почти не замечая перемены собеседника: „разве по теперешнему положению дел во Франции можно судить о том, что бы она была, ежели бы идеи революции могли свободно развиваться?“—Экс-аббат имел искусство внимательно и чрезвычайно спокойно слушать и перерывать именно в тот момент, когда это было выгодно.

— „Позвольте узнать ваше мнение. Кто же помешал развитию этих идей?“ перебил он так же тихо, как и прежде: „кто же установил настоящий порядок вещей, который, я полагаю, вы согласитесь назвать военным деспотизмом, противным всякой свободе?“

— „Порядок этот установился сам собою“.

— *Sans doute* <sup>1)</sup>, говорил экс-аббат, видимо только ожидая времени опять вставить свое победительное выражение.

— „Деспотизм возник от того, что Франция была поставле-

---

<sup>1)</sup> Без сомнения.

на в необходимость защищать свои установления против всей Европы“.

— Sans doute, закрывая глаза, говорил аббат.

— „Даже жестокости Конвента и Директории, все это произошло Европейское вмешательство“.

— Sans doute; но отчего же Европейские державы вмешались в дела внутреннего устройства Франции?—сказал аббат с улыбкой спорщика, приведшего противника именно к тому пункту, у которого он ждал его. Pierre на минуту не знал, что ответить. Он улыбнулся.

— Allez le leur demander <sup>1)</sup>, сказал он; но тут же, справившись, продолжал: „Впрочем, вы говорите отчего. Оттого, что свобода невыгодна деспотам, оттого, что учение революции не пришло еще во все умы“.

— Sans doute, повторил аббат. „Но позвольте у вас спросить: ежели бы нам с вами было предоставлено устроить судьбу мира, чего бы мы желали и к чему бы стремились: к благоустройству Франции или к благу всего человечества? Я думаю, что к последнему?“

Pierre замолчал, не понимая, к чему ведет его противник. „Я тоже думаю“, только сказал он.

— Sans doute. Вы говорите, что признание прав человека есть начало и основание всякой свободы и государственного благоустройства; я с вами совершенно согласен. Теперь я говорю, что признание прав человека во Франции, в одной Франции, не только не повело человечество к большему счастью и благоустройству, а повело и Францию и человечество к величайшему из зол—к убийству ближнего и к попранию всех тех прав человека, которые были так торжественно признаны. Это я говорю и вы со мной согласны. Не так ли? Теперь стало быть нам остается решить вопрос: каким образом устроить судьбу человечества так, чтобы права человечества были признаваемы одинаково всем образованным миром, и чтобы уничтожилась возможность войны между народами?..

— „Это будет тогда, когда идеи справедливости и свободы проникнут во все умы“, возражал m-r Pierre. „Для этого нужны общества распространения этих идей, нужна пропаганда“... руки P. как бы отыскивали что-то. Иностранец посмотрел на кольцо: „Как масонские ложи, вы думаете?“ сказал он, улыбаясь. „Sans doute. Но мне кажется, что до тех пор, пока в руках королей и императоров будет власть посылать на войну своих подданных, до тех пор у них будет и власть подавлять в этих подданных те идеи, которые невыгодны для власти“.

— „Так вы думаете, что человечество вечно останется таким же!“

— „Избави меня Бог это думать“, спокойно, самоуверенно

<sup>1)</sup> Спросите об этом у них.

отвечал итальянец, и лицо его приняло то выражение важности и поглощения всего в мысли, которое бывает у сумасшедших, когда их наводят на пункт их помешательства. „Меня бы не было здесь, ежели бы я это думал“, продолжал он, как-то таинственно оглядываясь. „Я думаю напротив, что именно здесь, в Петербурге, и теперь именно, в нынешнем 1805 году, есть возможность навсегда избавить человечество от всех зол деспотизма и злейшего из зол, родоначальника всех других—от войны“.

— „Какие же это средства?“ пробурлил m-r Pièrre, оживленно заинтересованный.—

Аббат долго помолчал, как бы раздумывая, стоит ли высказывать свои задушевные мысли перед такой ничтожной аудиторией, и потом, как бы махнув рукой и подумав: отчего же и не сказать, начал говорить. „Средства очень простые: Европейское равновесие и *droit des gens*<sup>1)</sup>.—Стоит одному могущественному государству, как Россия,—прославленному за варварство—стать бескорыстно во главе союза, имеющего цель равновесия Европы, и она спасет мир“.—

— „Но что такое равновесие и какая цель его?“ спросил Pièrre, еще не зная, верить ли или не верить.

— „Когда я жил дома“, сказала аббат, доставая табакерку со вздохом: „когда я был свободен, я был охотник до домашней птицы, особенно до индеек.—Я прошу извинить меня за эти тривиальные детали“, обратился он к княгине. „Я долго учился их выкармливать и не мог этого достигнуть оттого, что брал старых и молодых индеек вместе и сажал их в одно отделение. Что ж происходило? Сильные нападали на слабых, отбивали их от корма, даже нападали на них, воевали, и слабые чахли, умирали, а сильные в борьбе слабели. Я разделил индеек по категориям. В каждой категории были индейки одинакового роста и силы. И с тех пор индейки стали велики, сыты и счастливы“. И экс-аббат, как и все манияки, видимо оживленный страстным вниманием Р-а, в тысячный раз без малейшей скуки рассказал весь свой план переустройства Европы, который через Чарторыйжского был подаваем государю. План состоял вкратце в следующем. Чтоб удержать Францию от завоеваний, ей должны были быть поставлены на севере и на юге два новые государства, как преграды. На севере—Голландия и Бельгия, соединенные в одно, на юге—независимая Италия. Германский союз должен был быть отделен от Австрии и Пруссии. Польша в прежних пределах должна была быть сделана независимым государством. До малейших подробностей было обдуманно переустройство всех государств Европы таким образом, чтобы могущество одного не могло быть опасно для соседей. Кроме того все ученые мира должны были на общем конгрессе составить новое право народов, в котором постановлено бы было, что

<sup>1)</sup> Международное право.

война не может никем быть начата без согласия и посредничества соседних держав.

Все было так хорошо обдуманно и так ясно излагалось в устах этого тихого, сосредоточенного человека, что перед воображением слушателей невольно возникал новый век счастья для человечества. Pierre казался поглощенным вновь представившимся ему рядом мыслей.—Княгиня была даже заинтересована, один князь слушал так же, как он все слушал, с своим потухшим взглядом, как будто или все это он знает и презирает или ничего не понимает, но не заботится о том, чтобы казаться понимающим.

— *Et la guerre est impossible*<sup>1)</sup>, окончил аббат.

— „Что же мы, военные люди, будем делать, любезный аббат?“ спросил кн. Андрей, лениво улыбаясь.

Аббат, как и все маниаки, был так уверен в возможности того, что он предполагал, что насмешка над его планами не оскорбляла его; напротив, он с другими готов был тонко посмеяться, зная, что от насмешки толпы его великие идеи не умалются.

— *Vous irez planter des choux à la campagne avec votre charmante épouse*<sup>2)</sup>,—сказал итальянец с своей притворной улыбкой, как будто отгоняя от себя серьезность настроения, которого он считал недостойной свою аудиторию.

— *Oui, c'est comme ça, mon cher monsieur*<sup>3)</sup>,—только прибавил он к Pierr'u, чувствуя, что здесь только семя упало на плодородную землю—.

— „Однако и исполнение этой великой мысли невозможно без войны“, сказал Pierre. „*Vous comptez sans votre hôte*<sup>4)</sup>. Наполеон не разделит этих мыслей“.

— „Этого я не знаю. Я полагаю, что Россия, Австрия и Пруссия довольно сильны, чтобы заставить его принять эти основания“.

— „Австрия показала уже, как она мало сильна в войне. Разве силы, соединенные в первую войну, не были втрое сильнее армии Буонапарте?“ сказал князь Андрей и усмехнулся. (Князь, несмотря на свой восторг к гению Наполеона, называл его, как и все в Петербурге: Буонапарте.) „И что же вышло? Кроме науки войны, которая учит нас тому, что победа остается за тем, у кого больше пешек и кто их лучше расставит, поверьте, что есть еще бог войны, есть гений, которым одарен этот необыкновенный человек.—Вы говорите о союзе в Европе; а завтра, может быть, мы получим известие, что французская армия в Ирландии и идет на Лондон“.—

<sup>1)</sup> И война будет невозможна.

<sup>2)</sup> Вы с вашей прелестной супругой поедете в деревню сажать капусту.

<sup>3)</sup> Да, это так, мой дорогой.

<sup>4)</sup> Вы рассчитываете, не спросясь хозяина.

Аббат ничего не отвечал и, насколько позволяла учтивость, презрительно улыбнулся.

Чиновник, давно тяготившийся молчанием, обратился к кн. Андрею.

„Неужели вы думаете, князь, что эта булоньская экспедиция может удасться?“

— „Я ничего не думаю“, резко отвечал князь, видимо недовольный, считая чиновника недостойным слушателем в военном деле, и обращаясь к аббату и Ригг'у: „я знаю только, что у него теперь 25 кораблей, не считая испанских, что у него сосредоточена 200.000-ная армия, обученная, обстреленная, и сформированная, и снабженная провиантом, как ни одна армия в мире. Что у этого человека генералы дивизионные такие, каких нет у Австрии ни одного главнокомандующего, не говоря уже про Пруссию и про нас.—Нужен счастливый ветер и туман, который бы перенес Буонапарте через Па-де Кале и все ваше равновесие Европейское погибло, любезный аббат, прежде, чем родилось“, сказал князь насмешливо. Все засмеялись. Князь видимо по основательному изучению описал все преимущества всего состава французской армии и все шансы за успех булоньского предприятия.

Аббат сказал, что в случае войны есть человек, который по гению военному не уступит Бонапарту,—это Моро. Заговорили о слухе, что в Америку послан генерал для приглашения Моро в русскую службу. Кн. Андрей доказывал, что Моро копун и не имеет того орлиного полета, который составляет силу Наполеона, и привел доказательства из подробного разбора кампаний этих полководцев. Разговор перешел на последние политические события.

— „Читали вы, князь, последние известия о короновании Буонапарте в Милане?“—сказал чиновник. „Какая смелость надеть самому на себя корону!“—

— „Да“, задумчиво сказал князь, как будто воображая себе перед глазами Наполеона. „Dieu me la donne, gare à qui la touche“<sup>1)</sup>, сказал он, повторяя сказанные Наполеоном слова при надевании короны и поднимая голову, как будто подражая движению Наполеона в то время, как он произносил эти слова. „Gare à qui la touche, m-r l'abbé! Le nouveau royaume Cisalpine ne sera si facile à former, quand le petit Caporal dira non!“

— Vous avez beau dire, c'est le plus grand homme de l'histoire<sup>2)</sup>.

— Le plus grand homme,—повторил Pierre.

1) Бог мне ее дал, берегись кто-нибудь ее тронуть.

2) Берегись кто-нибудь ее тронуть, г. аббат! Не легко будет образовать новую державу по сю сторону Альп, когда маленький капрал (прозвище Наполеона) скажет: не хочу! Что вы ни говорите, он—величайшая историческая личность.

— Le prince est partisan de Buonaparte <sup>1)</sup>? — вопросительно и презрительно поднимая брови, сказал аббат.

— Vous avez [vu] le buste de Buonaparte qu'il a dans son cabinet <sup>2)</sup>? сказала княгиня.

Князь презрительно посмотрел на жену, как будто досадуя на то, что она толкует о том, чего не понимает. Il n'y a pas d'homme au monde que je haïsse et, que j'admire autant que cet homme, voilà ma profession de foi à son égard <sup>3)</sup>, сказал он и его взгляд загорелся таким ярким блеском, что видно было, что он говорил не только то, что думал, но что чувствовал всем существом.

## XI. Французы в Москве. Пьер и Пончини.

Благовестили к вечерне. Пьер в армяке сидел на столбике тротуара Арбата против Николы Явленного и смотрел вверх по пустой улице, ожидая всякую минуту увидеть подхлывших французов. Два человека пробежали, сказав, что они уже на Смоленском рынке, и два французских гусара проехали рысью по улице.

Пьер вышел в это утро из дома с намерением принять участие в последней защите Москвы. Он верил еще в сражение последнее, отчаянное, как защита Сарагоссы. Москва была пуста, только кое-где были толпы, и Пьер понял, что сражения не будет. Но его все-таки волновало беспокойство, потребность показать, что все ему море по колено. Главное чувство, владевшее им в эти дни, было то русское чувство, которое заставляет загулявшегося купца истребить все зеркала—чувство, выражающее высший суд над всеми условиями жизни на основании какой-то другой, неясно сознанной истины. Одно, о чем не думал Пьер и что инстинкт дал понять ему и что было уже решенный вопрос, как только он задумал оставаться в Москве, было то, что он будет оставаться в Москве не под своим именем и званием графа Безухова и зятя одного из главных вельмож, а в качестве дворника, и это новое положение и обращение с ним народа, как с равным, радовало его.

В конце Арбата показалась пыль в заходящих лучах солнца, послышались крики французов, увидавших первую большую, длинную, красивую улицу, и из-за пыли показаласьдвигающаяся кавалерия.

Пьер, не опуская глаз, смотрел на их приближение. И страшно и весело ему было подумать, что он уже обхвачен и корабли его сожжены.

<sup>1)</sup> Князь, вы сторонник Буонапарте?

<sup>2)</sup> Вы видели бюст Буонапарте в кабинете у мужа?

<sup>3)</sup> Нет на свете человека, которого я так бы ненавидел и которым так бы восхищался, как этим человеком. Вот мой взгляд на него.

Впереди кавалерийской колонны ехал Мортье с блестящей свитой и, молодецки подбоченясь, оглядывал вокруг себя. Несколько человек жителей смотрели на шествие. Мортье повернул лошадь к Николе Явленному и остановился, указывая на Пьера. Офицер в уланском мундире под'ехал к Пьеру и спросил:

— „Ти русски! Лушай, ктуры костел Евана Велького?“

— „Не знаю“, отвечал Пьер.—Но в то же время вероятно дьячок церкви подошел к офицеру и стал говорить ему что-то.

Пьер пошел быстрыми шагами прочь от Арбата в переулок; несколько раз он оглядывался и лицо его было изуродовано злобой и волнением. Сзади войска, идя мимо Мортье, кричали: *Vive l'Empereur!* <sup>1)</sup>

Пьер остановился подле домика, в окнах которого были цветы, и вспомнил, что в этом доме жила кн. Чиргизова, старая девушка, с которой его княжны были дружны и у которой он бывал иногда прежде. Пьер вспомнил это потому, что он видел перед собой этот дом. Но вслед за этим он вспомнил, живо вспомнил, 1805 год, когда он любил еще честь своей жены и когда он в первый раз узнал, что честь эта была потеряна и опозорена. Это он вспомнил потому, что в душе его в эту минуту поднялось то самое чувство, которое он испытывал тогда. Тогда предметом этого чувства была жена и честь семьи, теперь предметом его была Москва и отечество. Точно так же, как тогда, растравляя свою рану, он становился воображением на место того, который, забавляясь, лишил его чести, точно также теперь он живо представлял себе радость и торжество французов победителей и равнодушие их к страданиям и нравственному унижению русских.—

Нахмуренный, злобный, он стоял у калитки дома, покряхтывая, приговаривал для себя что-то непонятное и тщетно задавал себе один вопрос: За что? и что делать?

— „Ты чего же тут стоишь? чего не видал?“ крикнул на него вдруг женский голос из растворившейся калитки. Это была горничная княжны.

— „Дома княжна?“ машинально спросил Пьер.

— „Ах, батюшки! Да никак барин!“—

Пьер вошел за горничной в дом княжны.

Княжна была в Москве, и все у ней было по-старому. Как только вошел в переднюю, Пьер услышал привычный запах затхла и собачки в передней; увидел старика-лакея, девуку и шутиху; увидел цветочки на окнах и попугая. Все было по-старому, и вид этот на минуту успокоил Пьера.

— „Кто там?“ слышался старухин ворчливо-крикливый голос, и Пьер невольно подумал: как посмеют войти французы, когда она так крикнет?

<sup>1)</sup> Да здравствует император!

— „Царевна! (так звали шутиху) подите же, кто там в передней?“

— „Это я, княжна! Можно?“

— „Кто я? Бонапарте что ль? — А, ну здорово, голубчик! Что ж ты не убежал? Все бегут, отец мой. Садись, садись. Это что ж, в кого нарядился? Или святки? Царевна, поди, погляди. От французов скрыться хочешь? Что ж, пришли что ль?“ спрашивала она, точно как спрашивала, пришел ли повар из Охотного ряда.

Она не понимала, не могла или не хотела понимать того, что делалось вокруг нее. Но странно, ее уверенность была так сильна, что Пьер, глядя на нее, убеждался, что действительно ничего нельзя ей сделать.

— „А соседка-то моя, Мария Ивановна Долохова, вчера уехала, сынок спровадил; так же как ты наряжен, приходил меня уговаривать уехать, а то, говорит, сожгу. А я говорю: сожжешь, а я тебя в полицию посажу!“

— Да полиция уехала.

— „А как же без полиции? У них небось своя есть. Я, чай, без полиции нельзя. Разве можно людей жечь? Пускай едут, мне выгода. На двор к ним прачешную перевела, мне простор“.

В это время послышался стук в калитку, и через несколько минут в комнату вошел французский гусар, бледный, худой и робкий. Очень учтиво прося извинения за беспокойство, он попросил поесть.

Княжна не знала по-французски; она посмотрела на него и, поняв в чем дело, велела отвести его в переднюю и покормить.

— „Поди, голубчик, посмотри, дали ли ему всего, от обеда вафли хорошие остались, а то ведь рады, сами сожрут“...

Пьер вышел к французу.

— Monsieur, mon cher monsieur, сказал француз, отзывая в переднюю Пьера. Пьер вышел за ним.

— *Voyez vous*, сказал француз краснея, показывая черную рубашку. *Est-ce que la bonne dame ne pourrait me donner une chemise, quelque chose en fait de linge? Voyez vous* 1)...

Пьер вернулся к старухе и рассказал ей.

— „Хорошо, голубчик. Что же не дать? Я нищим подаю. Царевна! поди ты в кладовую. Нет, Матрешку пошли“. И, распорядившись, где взять полотна, княжна прибавила: „да сказать ему, что из милости даю. Да скажи ему, чтобы он своему начальнику сказал, что вот, мол, я, княжна Чиргизова, генерала дочь, живу, никого не трогаю, и чтобы они мне беспокойства не делали. Хорошо, хорошо, ступай с Богом“, говорила она француз, который расшаркивался в дверях гостиной en remerciaut la bonne dame.

1) Послушайте, добрая дама, не может ли дать мне рубашку, что-нибудь из белья? Видите ли...

Чувствуя себя успокоенным, Пьер вместе с французом вышел от княжны. По Арбату шли теперь пехотные войска и Пьер почувствовал возвращение прежнего.

Были уже сумерки. Какой-то человек в кафтане, по походке и сапогам не мужик, прошел в отворенные двери церкви. Пьер вошел туда же. В церкви было пусто. Вошедший человек, напоминавший Пьеру кого-то близко знакомого, стоял на коленях перед алтарем, крестился и кланялся в землю.

Прежнее чувство унижения, злобы, ревности, подобное, хотя гораздо сильнее того, которое он испытывал когда то к своей жене, опять овладело им.

— „Сейчас войдут французы и выгонят меня отсюда“, думал он, слыша из церкви их шаги и веселый говор, раздававшийся по Арбату. „Что мне делать?“ опять думал Пьер и опять тот же ответ, как и тогда на подобный вопрос, представлялся ему. Убить его или самого себя; только смерть могла развязать этот узел. Но тогда ясно было, что убить надо было Долохова. Кого убить теперь? Его, Бонапарта. „Только затем судьба привела меня сюда, чтобы убить его“, думал Пьер: „и я убью его“.

В то время, как он радостно, до подробностей обдумывал то, каким образом он завтра, взяв под полу пистолет, пойдет в город, постарается встретить Наполеона и выстрелит в него, в это время молящийся на коленях человек быстро приподнялся, высморкался, обтер слезы и, скорыми шагами направляясь к выходу из церкви, столкнулся с Пьером.

— „Безухий!

— Долохов! не может быть! зачем ты?—Ты как?

— „Ты видел?“ сказал Долохов: „уж в Кремле! Да не долго! Я завтра запалю все, у меня молодцы готовы. Сам свой дом запалю“.

— А княжна?

— „Старуху убрать надо. Ты зачем здесь?“

Пьер удивленно и радостно смотрел на Долохова и успокоительное чувство сходило ему в душу.

„Ты зачем?“ повторил Долохов.

— „Я зачем? Долохов, я убью Бонапарта“, шопотом сказал Пьер.

— Как же ты убьешь его?

Два французские солдата вошли в церковь.

— Ты где живешь? спросил Долохов. Пьер сказал ему.

— „Не убьешь. Не надо“.

Долохов близко приставил свое лицо к лицу Пьера и засмеявшись пошел прочь.—„Ну, прощай, Безухов“. Он обнял и поцеловал его, и быстрыми шагами ушел. Пьер вышел за ним и переулками пошел к дому.

Возвращаясь домой, Пьер в разных местах видел французских солдат, размещавшихся по квартирам.

Кавалеристы слезали с лошадей, входили в ворота, подписывали мелом на домах: „заняты такими то и такими то войсками“.

Раза два у Пьера спрашивали, где Кремль и какая это улица; он пожимал плечами и делал вид, что не понимает.

На Петровке Пьер увидал толпу. Это были генералы, выкатывавшие экипажи, восхищавшиеся ими и присваивавшие их себе.

В квартале, где был дом Аксиньи Ларивоновны, на Пресне и на Патриарших прудах еще не было никого. Он вернулся домой, и дурак, муж Аксиньи Ларивоновны, первый встретил его с огромным мушкетеном у ворот. Он был очень пьян, и уже совершенно перешел в другую крайность от своей прежней робости и униженности. Он был Суворов! В одном нижнем платье он ходил перед воротами и кричал командные слова:

„Марш! Ура! На абордаж!“ кричал он. „Я череву твою прободу... Я кто? Я Суворов... Ты, ты кто? француз?“...—кричал он на Пьера.

Аксинья Ларивоновна вскочила, дернула за руку Суворова, так что он чуть не упал, и втащила в дом.

— Вот только на часок вышла, не укараулила, тут близ Кудрина кабачек разбили, вот он и налокался.

— Ну что, пришли? спрашивала она.

— Пришел.

— „А у вас были?“

— Нет, Бог миловал.

— „Только сунься“, кричал из-за перегородки Суворов.

Пьер ушел за свою перегородку, лег на постель и заплакал слезами злости и унижения.

— „Аксинья Ларивоновна, матушка, голубушка, он, он!.. ей Богу, он!“ кричала в это время кухарка, вбегая в комнату.— Они! Французы!—послышались голоса.

Аксинья Ларивоновна, кухарка и дурак, которого не заметили, выбежали на крылечко. Пьер отер слезы, встал и вышел за ними. Действительно, у ворот стояли французы. Впереди их был офицер.

Офицер был невысокий, стройный молодой человек с необыкновенно красивым, итальянским лицом. Особенно хороши у него были выпуклые, полузакрытые, бархатно-черные глаза с южным, поэтическим выражением, которое невольно заметил Пьер.

Офицер, увидав женщину, Аксинью Ларивоновну, тотчас же улыбнулся и приподнял шляпу с очевидно настоящей сердечной учтивостью и доброжелательством. Улыбка сделала его прекрасное лицо еще более красивым, что-то детское и вместе

с тем порядочное (*comme il faut*), как заметил Пьер, было в его лице.

— *Pardon, madame, quartire* <sup>1)</sup>, говорил офицер, видимо искренно тяготясь своим положением победителя и стараясь скрыть под учтивостью всю выгоду своего положения. *Nous ne ferons point de mal à nos hôtes, vous serez contents de nous. Si cela ne vous dérange pas trop* <sup>2)</sup>, говорил он хорошим французским языком, хотя и с итальянским акцентом,—и он, оглянувшись вокруг себя, встретился глазами с Пьером. Милый, добрый, и главное, глубоко меланхолический взгляд этого офицера тронул Пьера, в особенности вследствие той противоположности, которую он встретил в этом офицере с ожидаемым; Пьер невольно открыл уже рот, чтобы отвечать по-французски, как вдруг над самым его ухом раздался пьяный крик Суворова и высунулся его мушкетон, направленный прямо в грудь французского офицера.

— „Бонапартий! иди во ад!“... замок щелкнул, кремень ударил [по] огниву.

Пьер повернулся быстро, поднял кверху дуло мушкетона и над самым ухом его раздался оглушающий выстрел давно заряженного заржавелого мушкетона, который сделал *long feu* <sup>3)</sup>. Суворова так отдало выстрелом, что он упал назад к двери. Женщины вскрикнули, дымом застлало все сени и Пьер бросился к офицеру.

— *Vous n'êtes pas blessé?* <sup>4)</sup> спросил он его.

Офицер был бледен, но улыбался.

— *Mon cher, je vous dois la vie* <sup>5)</sup>,—проговорил он, хватая руку Пьера.—*Et moi, qui croyais que vous êtes russe! Vous êtes français* <sup>6)</sup>.

Французский офицер был убежден, что человек, поступивший благородно, великодушно (естественно, что верхом благородства и великодушия от всякого другого человека было спасение его жизни), не мог быть не француз.

Но Пьер, который не скрывал уже своего знания французского языка, разочаровал его. Он сказал ему, что он был русский, что выстреливший в него был пьяный сумасшедший. Французский офицер остановил сбежавшихся на выстрел двух солдат, пришедших с ними, и, взяв Пьера под руку, продолжая нежно благодарить его за спасение жизни, вошел с ним в комнату.

Испуганные женщины, между тем отняв уже безвредный

<sup>1)</sup> Извините, мадам, квартир.

<sup>2)</sup> Мы не сделаем ничего дурного хозяевам, вы останетесь нами довольны. Если это не очень вас стеснит.

<sup>3)</sup> Выстрелил не сразу.

<sup>4)</sup> Вы не ранены?

<sup>5)</sup> Дорогой мой, я вам обязан жизнью.

<sup>6)</sup> А я считал вас за русского! Вы—француз!

мушкетон у Суворова, таща его за руки и колотя его в спину, втащили за перегородку.

Французский офицер назвал свой чин, имя и фамилию. Он был офицер 6-го гусарского полка и состоял на ординарцах при итальянском короле. Его звали Емилъ Пончини.

— Qui que vous soyez, vous comprenez que je me sens lié à vous par des liens indissolubles. Disposez de moi <sup>1)</sup>, говорил он, своими прекрасными меланхолическими глазами глядя в лицо Пьера.

Офицер попросил поесть. Пьер предложил ему чаю с молоком (у них на дворе была корова), и за чаем они разговорились. Пончини не мог понять того, что Москва пуста, что было вне всех предположений и всех правил. Он, очевидно, выражая взгляд всей армии и штабов, находился в недоумении человека, выступившего по всем правилам на дуэль на шпагах, ставшего в правильную позицию *en garde* <sup>2)</sup>, с поднятой левой рукой и с положением шпаги *en tierce* <sup>3)</sup>, ожидая своего противника в том же положении и не находя ничего правильного в действиях противника. Попробовал дать положение шпаг кватрты, секунды, даже квинты, все нет шпаги противника, а противник стоит согнувшись, как-то боком, с чем-то страшным (чего нельзя видеть) в руках, с дубиной или с огромным камнем.

Пончини недоумевающе спрашивал Пьера, что такое значило это положение Москвы. К чему подвести это: сдана ли Москва? В этом случае отчего же не было депутации от жителей: *implorant la clemence des vainqueurs*? <sup>4)</sup> С бою ли отдана она? Тогда отчего не дрались на улицах? Разрушена ли она, как в Скифской войне и как было с другими городами? Тогда отчего же она осталась со всеми богатствами? Это было против всех правил, против всех преданий истории.

Пьер ничего не мог отвечать ему на это, он еще сам не понимал, что такое значила эта Москва в это после обеда 2-го сентября. Он, не глядя на собеседника, сказал только, что Москва не сдана, и никогда не будет сдана. И лицо его поразило своей мрачностью итальянского офицера в то время, как он говорил это.

— „Вы—великая нация“, сказал Пончини. „Я часто думал и говорил это. *Et savez vous, mon cher, je suis franc avec vous, je me suis pris un million de fois pendant cette campagne à envier votre sort à vous, d'appartenir à une grande nation. Je suis Italien,*

<sup>1)</sup> Кто бы вы ни были, вы понимаете, что я связан с вами неразрывно. Располагайте мною.

<sup>2)</sup> В боевой позиции.

<sup>3)</sup> В положении терции (секунда, терция, кварта—разные положения шпаги при фехтовании).

<sup>4)</sup> Взывающих к милости победителей.

nous n'avons que le passé. Le présent c'est le despotisme d'un homme, l'avenir c'est le néant" <sup>1)</sup>).

— „Но прошедшее ваше есть и настоящее“, сказал Пьер, чувствуя деликатность Пончини, переменявшего разговор. „Ваше прошедшее есть искусство, наука, поэзия, которая живит всех вас. Вы теперь завидуете нам, а я сколько раз завидовал вам, у кого были Рафаэли, Кореджи, Коперники, Данты, Тассы“.

Пьер невольно после дней, проведенных с Аксиньей Ларионовной и Суворовым, испытывал наслаждение говорить о тех интересах науки и искусства, мир которых был чужд для его теперешних товарищей жизни. Может быть, его и радовало бессознательно то, что он, говоря об этом, удивлял своими знаниями Пончини.

Пончини молча смотрел своими меланхолическими глазами на Пьера и рот его нежно улыбался. Он ударил своей маленькой рукой по столу.

— Mais qui êtes-vous donc, vous pour connaître les arts et les sciences? <sup>2)</sup>

— Moi? сказал Пьер, недоумевая, как ответить ему, когда вдруг послышались пьяные крики двух французских солдат, приведших лошадей и повозку Пончини, и других тоже чуждых голосов. Угрожающие крики все усиливались. Пьер и Пончини встали и вышли на крыльцо.

У ворот стояла толпа драгун и несколько из них ругались по-немецки с французскими солдатами, как Пьер тотчас понял из их немецкого говора, за то, что эти вюртембергские драгуны хотели стать на том же дворе и французы не пускали их. Они не понимали друг друга. Пончини, не знавший по-немецки, по-французски кричал им, доказывая, кто он, но драгуны не слушали его и лезли на двор. Один толкнул француза. Француз схватился за пистолет и произошла бы драка, ежели бы Пьер, выступив вперед, не объяснил по-немецки, кто был Пончини. Услыхав, что он был ординарец итальянского короля, немцы притихли и унтер-офицер велел им остановиться.

— Das sollten Sie ja voraus sagen <sup>3)</sup>,—сказал он.

— Mais qui diable êtes-vous donc <sup>4)</sup>,—сказал Пончини, ласково улыбаясь Пьеру, когда они вернулись к самовару:—Qui diable êtes-vous pour connaître le Dante et le Tasse et de parler toutes les langues? Je vois un hasard providentiel de vous avoir rencontré.

<sup>1)</sup> Знаете ли, мой милый, я, говоря откровенно, во время этой войны миллион раз завидовал вам, так как вы—великая нация. Я—итальянец, у нас есть только прошлое. Настоящее—это деспотизм одного человека, а в будущем—пустота, ничто.

<sup>2)</sup> Но кто же вы, знающий искусства и науки?

<sup>3)</sup> Вы должны были заявить об этом раньше.

<sup>4)</sup> Но кто же вы, чорт возьми?

Attendez! <sup>1)</sup> и он, взяв руку Пьера, сделал ему знак третьей степени масонского чина. Пьер, улыбаясь, ответил ему.

— Qui je suis <sup>2)</sup>? сказал он. „Я вам скажу это, я знаю вас и не буду просить тайны; я знаю, вы сохраните ее. Фамилия моя вам все равно, но я один из богатейших людей России. Я русский граф, у меня два огромных дома в Москве, но я остался здесь для того, чтобы видеть погибель французской армии, в которую я верю, и остался не в своем доме и не под своим именем“.

— И вы верите в погибель французов?

— Да.

— „Ну, не будем говорить про это, спаситель мой. Оставим вражду, мы два человека далекие, чуждые друг другу по всему кроме сердца, которое говорит мне, что вы брат мой, и будем братьями“.

— „И будем братьями“, повторил Пьер.

Они, радостно улыбаясь, смотрели друг на друга.

— Oh, la terrible chose que la guerre,—сказал Пончини.— Qui m'aurait dit à moi que je serai soldat, moi qui n'aime que l'art, la poésie et celle qui...—Вы женаты? <sup>3)</sup>

— „Да! я был женат“, сказал Пьер, и вдруг в первый раз, глядя на эти влюбленные глаза Пончини, вспомнил вместе два обстоятельства и невольно сделал из них вывод. Он вспомнил просьбу о разводе жены, свою свободу и последнее вчерашнее свидание с Наташей, со всей прелестью ее радости, ласки и ожидания. „Да, это могло бы быть“, подумал он. Пончини, опершись на руки на стол, сидел против Пьера и рассказывал ему всю судьбу свою, как рассказывал бы он человеку с луны. Он рассказал свои отношения с отцом, которого он не любил, и свою любовь.

В конце своего рассказа он сказал звучным, прекрасным голосом стихи Данта, и Пьер, знавший их наизусть, dokonчил их.

— „Вы любите эту строфу, вы прочувствовали тоже... И что я говорю про себя только, скажите и вы мне свою историю. Историю своей любви, потому что только и есть любовь в жизни“.

Аксинья Ларивоновна, радовавшаяся на смиренность своего постояльца француза и дружбу, которая была между ним и Пьером, собрав чай, принесла им ужинать и вина, которое унесла из дома Пьера.

— „Мне рассказать свою жизнь?“ сказал Пьер, „и свою любовь? Вы знаете, что я никому никогда не рассказывал

<sup>1)</sup> Кто же вы, чорт возьми, что знаете Данте и Тассо и говорите на всех языках? Я вижу руку провидения в том случае, который свел нас. Постойте!

<sup>2)</sup> Кто я?

<sup>3)</sup> Что за ужасная вещь война! Кто мог бы мне сказать, что я стану военным, я, который люблю только искусство, поэзию и ту, что...

своей жизни, себе даже не рассказывал. Мне все это казалось так просто. А для вас,—это другое дело“.—И Пьер стал рассказывать, в коротких чертах сосредоточивая свою жизнь и, по мере того, как он рассказывал, сам удивляясь тому, как просто и понятно становилось для него в первый раз значение его жизни. Он рассказывал про свое воспитание в Швейцарии, про восторг, который он имел к Наполеону, про идеи, которые наполняли его душу, и про то, что он нашел в России, про свое фальшивое положение, про своего отца, про историю Аксюши.

— *Et c'était là votre premier amour?*<sup>1)</sup> сказал Пончини, глядя на Аксинью Ларивоновну, подавшую жареную курицу. Потом Пьер рассказал про случайную встречу, как с ребенком, с ней (с Наташей) и про чувство, которое сказало ему, что она должна иметь влияние на его жизнь. Потом он рассказал про все то унижение и несчастье, в которое ввергло его богатство, как он, как потерянный, бродил в этом тумане, окружившем его тотчас же, как он в этом тумане набрел на женщину, на Элен. „И она не была дурная женщина, я больше виноват перед нею, чем она передо мной. Она могла бы быть хорошей женщиной. Я набрел на нее в тумане богатства и принял за любовь другое чувство и не любя женился на ней“.

„Все прекрасные вещи и мысли (как масонство), которые представлялись мне в это время, были затемняемы туманом богатства, и я не жил. Одно только было мне памятно. У меня был друг, и его нет теперь; это была редкая, высокая, но гордая душа. Я встретился с нею, и в то время встретился он. Я сводил их. Но в душе мне говорило что-то, что они сотворены друг для друга; потом, потом... Она сделалась сумасшедшая, она оскорбила его и он ее бросил. И надо было опять судьбе сделать то, чтобы я играл роль в этом. И я застал ее в слезах и горе, и я сказал то, что не должен был говорить. И с той минуты, я знаю, она дружбой полюбила меня. Но у меня в душе была не дружба, я испугался себя и сказал, что не буду видеть ее. И верите ли вы? Вчера, когда я был в этом платье, когда я меньше всего думал о ней, когда я знал, что она свободна (потому что ее бывший жених убит), ужасно думать об этом, но я говорю это только вам, как своей совести, и когда я был свободен, надо было, чтобы я в толпе уезжающих встретил ее, чтобы она узнала меня и сказала мне“...

Пьер разгорелся, говоря это. Глаза его блеснули. „Нет, не надо, нельзя об этом думать“. — Пончини молчал и нежными глазами смотрел на него. Довольно долго они молчали. Пончини встал и взял его за руку.

---

<sup>1)</sup> Это она была вашей первой любовью?

— Mon ami, comme je suis heureux de vous avoir rencontré. Vous serez heureux, je le sens.

— „Qui sait? <sup>1)</sup> Не надо об этом думать“. Пьер тоже встал и они вышли погулять. На дворе уже было совсем темно. У ворот стояла Аксинья Ларивоновна, кухарка и оба француза. Слышны были их смех и непонимающий друг друга говор. Они шутили и смотрели на огни и зарево, видневшееся в городе. Это был первый пожар на Петровке. Пончини и Пьер подошли к ним и тоже стали смотреть. Ничего странного не могло быть в пожаре в огромном городе. И они все спокойно смотрели на это далекое, версты на две видневшееся, зарево.

Над темными домами, церквами, над бедными огнями фонарей, освещенных окон, костров и даже над бедным огнем, иногда вспыхивающим на пожаре, хотя это горело уже пять огромных домов, над этими низкими, бедными, черными пятнами людской работы и костров лежало звездное, бесконечное небо с молодым серпом месяца и с той же кометой, которую так помнил и любил Пьер. Эта противоположность бросилась в глаза Пьеру и его новому другу.—Пончини вздохнул и прочел стих Данта.

## XII. Пьер в плену и развязка романа по краткому варианту.

Тут, в общем балагане Р. <sup>2)</sup> роздал другим все свои вещи и сапоги и жил, ожидая спасенья, в том положении, в котором и находился теперь 1-го октября. Ничего особенного Р. не делал здесь, но невольно сделалось между всеми пленными, что как только кому-нибудь было плохо, как только все хотели предпринять что-нибудь, все обращались к Р. Кроме того, что Р. говорил по-французски и по-немецки (были караулы и Баварские), кроме того, что он был ужасно силен, кроме того он—никто не знал почему, ни пленные, ни он сам, ни французы,—пользовался большим уважением даже от французов. Его звали *le grand chevelu* <sup>3)</sup>. Не было человека из его товарищей, который бы не был ему обязан чем-нибудь: тому он помогал работать, тому он отдал платье, того развеселил, за того похлопотал у французов. Главное же его достоинство состояло в том, что он всегда был ровен и весел.

Не дострогав еще свою палочку, Р. лег в свой угол и задремал. Только что он задремал, как за дверью послышался голос: „Un grand gaillard! Nous l'appelons chevelu. Ça doit être votre homme, capitaine.—Voyons, faites voir, caporal <sup>4)</sup>, сказал

<sup>1)</sup> Друг мой, как я рад, что встретился с вами. Я чувствую, что вы будете счастливы.—Кто знает?

<sup>2)</sup> Т.-е. Pierre. В дальнейшем эта буква всегда обозначает Пьера Безухова. *Ред.*

<sup>3)</sup> Высокий лохматый.

<sup>4)</sup> Высокий малый. Мы зовем его лохматым. Должно быть это тот, кого вы ищете, капитан.—Отлично, дайте взглянуть, капрал.

нежный женский голос. И, нагибаясь, вошел капрал и офицер, маленький красавчик, брюнет с прелестными, полузакрытыми меланхолическими глазами. Это был Пончини, тайный друг Р. Он узнал о плене и положении Р. и наконец добрался до него. У Пончини был сверток, который нес солдат. Пончини подошел, оглядывая пленных, к Р. и тяжело вздохнул, кивнул головой капралу и стал будить Р—а. Как только Р. проснулся, выражение нежного сострадания, бывшего на лице П., вдруг исчезло; он видимо боялся этим оскорбить его. Он весело обнял его и поцеловал.

— Enfin je vous retrouve, mon cher Pilade! <sup>1)</sup> сказал он.

— Bravo! закричал Р. вскакивая и, взяв под руку П., с тем самоуверенным приемом, с которым он хаживал по балам, стал ходить с ним по комнатам.

— „Ну как не дать мне знать!“ упрекал П. „Это ужасно, положение, в котором вы находитесь. Я потерял вас из вида, я искал. Где, что вы делали?“

Р. весело рассказал свои похождения, свое свидание с Даву и расстреляние, на котором присутствовал. П. бледнея, слушал его и остановившись жал его руку и целовал, как женщина или как красавец, каким он был, который знал, что поцелуй его всегда награда.

— „Надо это кончить“, говорил он. „Это ужасно“. П. посмотрел на его босые ноги.

Р. улыбнулся. „Ежели я останусь жив,—поверьте, что это время будет лучшим в моей жизни. Сколько добра я узнал и как поверил в него и в людей. И вас бы я не знал, мой милый друг“, сказал он, трепя его по плечу.

— „Надо вашу силу характера, чтобы так переносить все это“, говорил П., все поглядывая на босые ноги и на узел, который он сложил. „Я слышал, что вы в ужасном положении, но не думал, что до такой степени... Мы поговорим, но вот что“... П., смутившись, взглянул на узел и замолчал.

Р. понял его и улыбнулся, но продолжал о другом.

„Рано ли поздно кончится,—так или иначе кончится война, а 2—3 месяца в сравнении с жизнью... Можете ли вы мне что сказать о ходе дела, о мире?“

— „Да, нет—лучше я ничего не скажу вам; но вот мои планы. Во-первых, я не могу вас видеть в таком положении quoique vous avez très bonne mine. Vous êtes un homme superbe. Et je voudrais que vous puissiez être vu dans cet état par celle <sup>2)</sup>... Но вот что“...—и П. опять взглянул на узел и замолчал.

Р. понял его и, схватив снизу за руку и потянув, сказал:

„Давайте, давайте ваш узел благодетельный! Мне не стыдно

<sup>1)</sup> Наконец, я вас отыскал, милый мой Пилад (друг).

<sup>2)</sup> Хотя у вас очень хороший вид. Вы великолепный человек! И я желал бы, чтобы вас в этом положении увидела та...

принять от вас сапоги, после того, как я не знаю, кто взял от меня в моих домах по крайней мере на 8 миллионов франков“, не мог он удержаться чтобы не сказать, но добродушно веселой улыбкой смягчая выражение своих слов, могущее показаться упреком французам. „Одно только,—что вы видите,“ сказал он, обращая внимание П. на жадные глаза пленных, которые были устремлены на развязываемый узел, из которого виднелись хлеба, ветчина, и сапоги, и платье. „Надо будет разделить avec mes compagnons d'infortune et comme je suis le plus robuste de la société, j'y ai moins droit que les autres“<sup>1)</sup>, сказал он не без тщеславного удовольствия, видя восторженное удивление на лице меланхолического, доброго, милого П. Чтобы не мешал вопрос узла разговору, которым дорожили оба, Р. роздал содержание узла товарищам и, оставив себе два белых хлеба с ломтем ветчины, из которых один он тотчас же стал есть, пошел с П. на поле ходить перед балаганом.—

План Пончини состоял в следующем: Р. должен был объявить свое имя и звание и тогда не только он будет освобожден, но П. брался за то, что Наполеон сам пожелает его видеть и, весьма вероятно, отправит его с письмом в Петербург. Как это и было... Но заметив, что он говорит лишнее, П. только присил Р. согласиться.

— „Не портите мне всего моего прошедшего“, сказал Р.: „я сказал себе, что не хочу, чтобы знали мое имя, и не сделаю“.

— „Тогда надо другие средства; я похлопочу, но я боюсь, что мои просьбы останутся тщетными. Хорошо, что я знаю, где вы. Будьте уверены, что мои узлы будут так изобильны, что вы оставите и себе, что вам нужно“.

— Merci. Ну, что к-а?

— „Совершенно здорова и спокойна<sup>2)</sup>. Ах, mon cher, что за ужасная вещь война, что за бессмысленная, злая вещь!“

— „Но неизбежная, вечная“, говорил Р.: „и одно из лучших орудий для проявления добра человечества. Вы мне говорите про мои несчастья, а я так часто бывал счастлив в это время. В первый раз я узнал себя, узнал людей, узнал мою любовь к ней.—Ну что, имели ли вы письма?“

— „Да, но можете себе представить, что моя мать все не хочет слышать о моей женитьбе, но мне все равно“.

Поговорив до вечера—уже месяц вошел—друзья расстались. П. заплакал, прощаясь с Р. и обещая сделать все для его спасенья. Он ушел. Р. остался и, глядя на дальние дома в месяч-

<sup>1)</sup> С моими товарищами по несчастью. И так как я крепче их всех, то имею меньше, чем другие, права на все это.

<sup>2)</sup> Вопрос Пьера мы расшифровываем так: Ну, что княжна? предполагая, что при первой их встрече Пьер мог просить Пончини обратить внимание на положение княжны Чиргязовой. Другой смысл вложить в эту реплику мы затрудняемся. Редактор.

ном свете, еще долго думал о Наташе, о том, как в будущем он посвятит всю жизнь свою ей, как он будет счастлив ее присутствием и как мало он умел ценить жизнь прежде.—На другой день П. прислал подводу с вещами и Р. достались валеные сапоги. На 3-й день их всех собрали и вывели по Смоленской дороге. На первом переходе один солдат отстал и фр. солдат, оставшись тоже, убил его. Офицер конвойный объяснил Р., что надо было идти, а пленных так много, что те, кто не хочет идти, будут расстреляны.—

---

В половине сент. Ростовы с своим транспортом раненых приехали в Тамбов и заняли приготовленный для них вперед купеческий дом. Тамбов был набит бежавшими из Москвы и каждый день прибывали новые семейства. К князю Андрею прибыли его люди и он поместился в том же доме, где Ростовы, и понемногу оправлялся. Обе барышни Ростов. семейства чередовались у его постели. Главная причина тревоги больного—неизвестность о положении отца, сестры и сына кончились. Получено было письмо от кн. Марьи, в котором извещалось [сообщалось?] кн. А., что она едет с Коко в Тамбов, благодаря Н. Ростову, который спас ее и был для нее самым нежным другом и братом. У Ростовых очистили еще часть дома, пожавшись и уничтожив гостиную, и каждый день ждали кн. Марью.

20 сентября кн. Андрей лежал в постели. Соня сидела и читала ему вслух Corinne <sup>1)</sup>.

Соня славилась хорошим чтением. Певучий голосок ее мерно возвышался и понижался. Она читала про выражение любви больного Освальда и, невольно сближая Андрея с Освальдом и Наташу с Corinne, взглянула на Андрея. В последнее время у Сони явилась новая тревога. Кн. Марья писала (Андрей вслух читал это письмо Ростовым), что Nicolas был ей другом и братом, что она ввек сохранит ему нежную благодарность за его участие в тяжелые минуты, пережитые ею. Н. писал, что он на походе случайно познакомился с княжной Болк. и старался быть ей полезным на сколько мог, что было ему особенно приятно, так как он никогда не встречал, несмотря на отсутствие красоты, такой милой и приятной девушки.

Из сопоставления этих двух писем графиня, как заметила Соня, хотя графиня ничего не сказала об этом, вывела заключение, что кн. Марья была именно та невеста, богатая и милая, которая нужна была Н. для поправления дел.—Отношения с Андреем оставались для всего семейства в неизвестности. Казалось, они были попрежнему влюблены друг в друга, но на конференции Наташа объявила матери на вопрос ее о том,

---

<sup>1)</sup> „Коринна“, роман г-жи Сталь.

что из этого будет, что отношения их только дружеские, что Наташа отказала ему и не изменяла своего отказа и не имеет причины изменять его.—Соня знала это и знала, что поэтому графиня лелеяла тайно мысль женить N. на кн. Марье, от этого и так радостно хлопотала о устройстве для нее помещения; и этот-то план графини и был новой тревогой Сони. Она не сознавала этого и не думала о том, что ей хотелось бы поскорей женить Андрея на Нат. преимущественно для того, чтобы потом по родству для N. уже не было возможности жениться на кн. Марье, она думала, что она желает этого только из-за любви к Нат.—другу, но она желала этого всеми силами и кошачьи четко, хитро действовала для достижения этой цели.—

— „Что вы смотрите на меня, m-elle Sophie?“ сказал ей Андрей, улыбаясь доброй болезненной улыбкой. „Вы думаете о аналогии, которая есть между вашим другом?—Да, продолжал он,—но только la comtesse Natalie <sup>1)</sup> в миллион раз привлекательнее этого скучного bas bleu—Corinny“ <sup>2)</sup>).

— Нет, я ничего этого не думаю, но я думаю, что очень тяжело для женщины ожидать признания мужчины, которого они любит, и видеть его колебания и сомнения.—

— „Но, chère m-elle Sophie, есть, как у лорда Невилля, соображения, которые выше своего счастья. Понимаете ли вы это?“

— То-есть, как вас понимать?

— „Могли ли бы вы для счастья человека, которого вы любите, пожертвовать своим обладанием им?“

— Да, наверное...

К. Андрей слабым движением достал письмо кн. Марьи, лежавшее подле него на столике.

— „А знаете, мне кажется, что моя бедная кн. Марья влюблена в вашего cousin. Это такая прозрачная душа. Она не только видна вся лично, но в письмах я вижу ее. Вы не знаете ее, m-elle Sophie?“

Соня покраснела страдальчески и проговорила: „Нет!—Однако у меня будет мигрень“, сказала она и, быстро встав, она, едва удерживая слезы, вышла из комнаты. Миновав Наташу,—„Что спит?—Да!“ она побежала в спальню и рыдая упала на кровать. „Да, да, это надо сделать; это нужно для его счастья, для счастья дома, нашего дома. Но за что же? Нет, я не для себя, а хочу счастья Наташе“...

В этот же день в доме все зашевелилось, побежало к кн. Андрею и на крыльцо. К под'езду под'ехала огромная княж. карета, в которой он ездил в город, и две брички. Из кареты вышла кн. Марья, Бурьен, гувернер и Коля. Кн. Марья, увидав графиню, покраснела и, хотя это было первое ее свидание, бросилась в открытые ей объятия и зарыдала.

<sup>1)</sup> Графиня Наталья.

<sup>2)</sup> Синего чулка—Коринны.

— „Я вдвойне обязана вам, за Андрея и за себя“, говорила она.

— Mon enfant,—сказала графиня: „в теперешнее время счастливы те, которые могут помогать другим“.—Илья Андреевич поцеловал руку княжны. Он представил ей Соню. „Это племянница“.

Но кн. Марья все искала с беспокойством кого-то. Она искала Наташу. „А где Натали?“

— „Она у кн. Андрея“, сказала Соня. Княжна улыбнулась и побледнела, вопросительно поглядев на графиню. Но на вопросительный взгляд ее, спрашивающий о том, возобновились ли прежние отношения, ей ответили непонятной грустной улыбкой. Наташа выбежала навстречу княжне почти такая же быстрая, живая и веселая, какая она была в старину. И княжну, как и всех, она поразила неожиданностью простоты и прелести. Княжна ласково поглядела на нее, но слишком невольно прощипательно, и стала целовать.

— Je vous aime et vous connais depuis longtemps <sup>1)</sup>,—сказала она.

Наташа смутилась, молча отошла, занялась Коко, который ничего не понимал, кроме того, что она, Наташа, была веселее и приятнее всех, и больше всех любил ее.

— Он совсем поправляется,—говорила графиня, провожая княжну к кн. Андрею.—Но вы, ma pauvre enfant, combien vous avez souffert! <sup>2)</sup>.

— „Ах, я не могу вам рассказать, как это было тяжело“, сказала кн. Марья, еще румяная и оживленная от холода и радости. (Совсем она не так дурна, думала графиня.) „И ваш сын спас, решительно спас меня не столько от французов, сколько от отчаяния“.

Слезы показались на прекрасных лучистых глазах кн. Марьи, когда она говорила это, и графиня поняла, что слезы относились к любви к ее сыну.—Да, она будет его женою, это прелестное создание!—и она обняла кн. Марью и обе еще поплакали радостно, потом улыбнулись, отирая слезы и приготавливаясь войти к кн. Андрею.

Кн. Андрей, приподнявшись на краю, сидел, встречая кн. Марью, с исхудавшим, переменявшимся, виноватым лицом, с лицом ученика, просящего прощения, что он никогда не будет, с лицом блудного возвратившегося сына. Кн. Марья плакала, целовала его руки, приводила ему его сына. Андрей не плакал, мало говорил и только сиял преобразованным счастьем лицом. Он мало говорил об отце и его смерти. Всякий раз, как нападал он на воспоминание об этом, было слишком тяжело. Они оба говорили себе: после, после. А не знали они, что после

<sup>1)</sup> Я вас давно знаю и люблю.

<sup>2)</sup> Сколько вы перестрадали, бедное дитя мое.

они никогда не будут говорить. Только одного не могла не рассказать кн. Марья, это последних слов к. [отца], когда она ночью накануне его смерти сидела у его двери, не смея войти, и на другой день сказала ему это. Как он,—он, суровый кн. Н. А., сказал ей:

„Зачем ты не вошла, душенька?“—„Да, да, душенька“,— „мне так тяжело было“.—

Кн. Андрей, услышав это, отвернулся; нижняя челюсть его вся запрыгала и он поскорей переменял разговор. Он спросил ее об ее отъезде и о N. Ростове.

— „Кажется, пустой малый?“ сказал Андрей с хитрой звездочкой во взгляде.

— „Ах, нет!“—испуганно вскрикнула княжна, как-будто ей физически больно сделали.—„Надо было видеть его, как я, в эти страшные минуты! Только человек с таким золотым сердцем мог вести себя так, как он. О, нет!“

Глаза кн. Андрея засияли еще светлее.—Да, да, это надо, надо сделать,—думал он.—Да! Вот оно то, что еще оставалось в жизни, о которой я жалел, когда меня несли.—Да, вот что! Не свое, а чужое счастье!—

— „Так он милый малый? Ну, я очень рад!“—сказал он.—

Кн. Марью позвали обедать, и она ушла, чувствуя, что не сказала самого важного, не узнала о теперешних отношениях с Наташей, но она почему-то, как бы чувствуя себя виноватой, боялась спросить о них. Сейчас после обеда брат ее избавил от этого труда.

— „Ты удивляешься, я думаю, мой друг, нашим отношениям с Ростовыми“.

— Да, я хотела...

— „Прежнее все забыто. Я—искатель, которому отказано, и я не тужу. Я... мы дружны и навсегда останемся дружны, но никогда она не будет для меня ничем, кроме как младшей сестрой. Я никуда не похужу“.

— „Но как она прелестна, Андрей! Но я понимаю“,—сказала кн. Марья и подумала, что гордость кн. Андрея не могла ему позволить вполне простить ее.

„Да, да“, сказал кн. Андрей, отвечая на ее мысли.

Известия из армии были самые благоприятные: оба молодые Ростовы были целы. Старший в полку, меньшей—в партизанском отряде Денисова.

Только старик Ростов, разоренный совершенно отдачей Москвы, был грустен и озбочен, писал письма ко всем сильным знакомым, прося денег и места. Один раз Соня застала его в кабинете рыдающим над написанным письмом.—

— Да, ежели бы это только было!—думала она. Она заперлась к себе и долго плакала. К вечеру она написала письмо Nicolas, в котором отсылала ему кольцо, освобождала от обещания и просила просить руки кн. Марьи, которая сделает

счастье его и всего семейства. Она принесла это письмо графине, положила на стол и убежала. С следующим курьером письмо было послано, с прибавлением письма такого же содержания от графини.

— „*Donnez moi votre genereuse petite main à baiser*“<sup>1)</sup>, сказал ей вечером кн. Андрей. И он долго дружески разговаривал о Наташе.—„Любила ли она кого-нибудь сильно?“—спрашивал Андрей. Я знаю, что меня она никогда не любила совсем. Того еще меньше. Но других, прежде?

— „Один есть, это Безухов“, сказала Соня. „Она сама не знает этого“.

В тот же вечер кн. Андрей при Наташе рассказывал о Безухове и о известии, которое он получил о нем. Нат. покраснела, оттого ли, что она думала о Безухове больше, чем о другом, или оттого, что с своим чутьем она чувствовала, что на нее смотрели, говоря это. Известие, полученное кн. Андреем, было от Пончини, который в числе других пленных был приведен в Тамбов. На другой день Андрей рассказывал о чертах великодушия и доброты Р. из своих воспоминаний и из того, что говорил этот пленный. Соня тоже говорила о Р., кн. Марья делала тоже.

— Что они со мной делают?—думала Н.—А что-то они делают со мной.—И она беспокойно оглядывалась вопросительно. Она верила в то, что они, Андрей и Соня, лучшие друзья и делают с ней все для ее добра.

Кн. Андрей попросил Наташу спеть в другой комнате и кн. Марья села аккомпанировать; и два года почти нетроганный голос, как будто сдерживая за все это время всю свою обаятельность, вылился с такой силой и прелестью, что кн. Марья расплакалась, и долго все ходили как сумасшедшие, неожиданно сблизившись, бестолково переговариваясь.

На другой день были приглашены пленные, которыми восхищались все в Тамбове, и в том числе Пончини. Два из них, генерал и полковник, оказались грубыми мужиками, не отча[ивающимися] *de baiser les comtesses russes*<sup>2)</sup> и плевавшими в комнате, и один, понравившийся всем, тонкий, умный, меланхолический Пончини, особенно понравившийся всем тем, что он без слез не мог говорить о Р. и, рассказывая о его величии души в плену — с ребенком, доходил до того итальянского красноречия, которому нельзя не поддаться. Наконец пришло письмо Р., что он жив и вышел с пленными из Москвы.

И Пончини, признавшийся Андрею в признаниях Р. и не перестававший удивляться случаю, сведшему его именно с той особой, был подослан к Наташе, чтобы сделать ей эту

1) Дайте мне поцеловать вашу великодушную ручку.

2) Целовать русских графинь.

indiscretion<sup>1)</sup>, которая теперь, когда было получено известие о смерти Hélène, не могла иметь дурных последствий.—

Старый граф видел все это. Ему это не было радостно. Ему было тяжело и грустно—он чувствовал, что он при всем этом не нужен, что он отжил свою жизнь, сделал свое дело—наплодил детей, воспитал, разорился; и теперь они ласкают, жалеют его, но им его не нужно<sup>2)</sup>.

---

---

<sup>1)</sup> Разоблачение.

<sup>2)</sup> Изложение заключительных страниц романа по этому варианту см. в сопроводительной статье. *Редактор.*

# В луговых просторах.

*Павел Низовой.*

Повесть.

I.

**Т**яжело и спокойно на многие версты разлеглись луговые просторы. На них, будто калмыцкие стойбища—бурые, выветренные стога. За лугами, на горизонте, видимые бледно-синей полоской, вечно и крепко расположились леса, — неисхоженные, неизмеренные, с тысячелетними дубами, с медведями, со всяким зверьем.

Возле лесов—болота и топи по ночам тяжело дышат, хлюпают и кадят густыми испарениями. Оттуда доносится крик зловещих птиц, вой зверья,—шумно, разноголосо дает о себе знать многочисленная нелюдимая тварь.

А на лугах иная жизнь. Исчертила их во всех направлениях тихая, мирная река. Там бачежок, тут заводь, здесь баклажка,—и все от реки, везде она заглянула и оставила по себе весеннюю память.

По солнечному жаркому небу торопливо гоняются друг за другом осенние облачка и от них на бурых, выжженных лугах плавающие тени.

Река то пропадет, то опять вынырнет; на синеватой, стеклянной поверхности горят, переливаются ослепляющие блики, словно плеснули ртутью.

По берегам и на воде неисчислимые стаи гусей сверкают снежными перекаत्याющимися комьями. На закате солнца подrostки из соседнего села погонят их ко двору...

Село называется Выползово. Из конца в конец—две версты. Посредине—волсовет в новой пятистенной избе колесника Егора Трохина. Наискосок—потребилровка.

Андрон Трохин, по прозвищу Чижик, с виду мужиченко мусорный, и характером беспечный, слегка переваливаясь и пыля разбитыми лаптями, не спеша идет к дому. Третий день, как он стал на манер начальства.

Из уезда пришла бумага:

„Искоренить самогон...“.

Дело это серьезное. Устроили собрание.

„Непреренно надо искоренить. Народ спивается, хлеба переводится уйма. Опять же на счет пожара не безопасно...“

— Ясно! Чего тут толковать!

Вынесли постановление:

„Не гнать, не продавать“.

А после собрания, глядь, один песню на улице заводит и руками шеборшит, другой идет—носом клюкает...

На втором собрании мельник Гаврило Комар свирепо тряс сивой от муки бородой, хрипло выкрикивал:

— Подтвердить постановление строгим наказом, а кто ослушается, того выгона лишить и покосу убавить. В сурьез надо за дело приняться!

Спустя неделю пришлось еще одно собрание сделать. На нем и порешили нанять смотрителя за самогонщиками. Для этой должности как нельзя лучше подошел Андрон Чижик. Во-первых, не пьет, во-вторых, мужик честный, на взятку не польстится, в-третьих, человек бедный, безлошадник,—пусть поправится: три рубля в месяц жалованья — сумма не пустяжная.

Из совета выходили довольные: меры приняты самые решительные. Только Никита Хвастунков, хозяйственный и малопьющий, недоумевал:

— Ну, а вот я, к примеру, скоро дочь просватаю, пропой нужно будет делать. Как же тут без самогона? Без него никак не обойтись!

— Нужда наша пьет! Иной час душу хочется отвести,— пожаловался себе и товарищам солдат-инвалид Осип. У него недавно волки задрали двух овец и второй год подряд жена родит по двойне.

— А я третевось бычка на корову сменял—ну и спрыснули по этому случаю!—откликнулся спереди брат Осипа.

Андрон Чижик шел тогда из совета полный деловых мыслей. Главное—это три рубля в месяц. К весне можно будет подумать и на счет лошади. Он по дороге высчитал, к какому месяцу у него скопится необходимая для этого сумма.

Сегодня Чижика покричал из окна председатель совета.

— Андрон Павлыч! Зайди-ка на минутку!.. Здорово! Ну, как, теперь: значит, по-настоящему войну открываем?

— По-настоящему!—засмеялся Чижик.—Пора их приструнить! Распоясались, ядрена палка!

Председатель, слегка прищурившись, посмотрел на него. Он был строгий и рассудительный. Начал с расстановкой:

— Вдова Аксинья—самогонщица. Раз!—пригнул палец.

Чижик тоже пригнул палец и повторил за председателем:

— Верно! Раз!

— Солдатка Варвара Климова—два!

— Два!

— Семен Абрахин—три!.. Так, что ли?

— Так,—подтвердил Андрон.

— Теперь давай снова... У Аксины пятеро детей. Нынче не пахала: лошади не было. Вчера я зашел к ней—ребята болтушу едят.

— Что и говорить—беднота,—согласился Андрон.

— У солдаты Варвары четверо, старший еще не научился сопли подтирать. Тоже безлошадная, да и корова нынче яловая.

— Верно. Зиму без молока,—досказал Андрон.

— Семена Абрахина два раза штрафовали, если еще раз найдут—в тюрьму посадят, а у него жена без ног лежит, слепая мать...

— Это, как пить дать—посадят.

Председатель поднялся.

— Ну, ладно! Вали там, соображай—кого и как. Тебя не учить, сам с головой...

С тяжелыми мыслями вышел от председателя Андрон Чижик. Кому лучше, как не ему, знать о нужде крестьянской?..

Неторопливо и мягко ступает широкими, разбитыми лаптями Андрон Чижик, поднимает взбитую дорожную пыль. Хотел перешагнуть через канаву и остановился, посмотрел в один конец улицы, посмотрел в другой, круто повернул в сторону.

Сверкает крашеными бревнами изба совета, красуются: резной карниз, обшитое крыльцо с широкой дверью, железная зеленая крыша. Для третьего сына, Ивана, строил ее Егор Трохин. После войны женил его и хотел выделить, но не успел.

Рядом изба постарше—его самого с женой и младшим сыном Мишкой. В ней теперь и жили все пятеро.

А дальше—две избы выделенных старших сыновей.

Если пройти по селу из конца в конец, то больше десятка насчитаешь Трохиных дворов—братья, дяди, племяши, дальние родственники. Все тележным и колесным ремеслом занимаются,—весь род таков. Живут исправно. Только один Андрон Трохин, по прозвищу Чижик, росток от того же корня, вышел не в род, а из роду. Будто и не их фамилии. У них хорошие дома, у него—без крыши, без печной трубы. У них дворы полны скотины, у него—плохонькая коровенка и две ярки.

Четыре года назад его постигла беда: пала лошадь, а потом, вскоре, умерла жена. С тех пор никак не может подняться. Оба они с сыном, шестнадцатилетним Алексашкой, не плохие работники: по две телеги в неделю делают, но чужая лошадь все барыши с'едает. В субботу наймут ее на базар ехать,—почти всю пользу и приходится отдавать. А свою завести сил не хватает.

Андрон вышел на задворки взглянуть, не курится ли где на огородах предательский дымок. У Егоровой избы в перелуке заготовлен колесный материал; целые поленицы березы

и дуба. Взглянул и подумал: „Каков завтра будет базар? Продаст ли Алексашка телеги, не пришлось бы в уезд везти“.

Из-за двора показалась Егориха, шла из бани. Лицо красное, распаренное, под-мышкой веник. За ней—сам Трохин. Обдал Андрона парным теплом, посмотрел недружелюбно, исподлобья.

— Ну, что,—новая забота теперь?

— Да, запрет себя,—пожаловался Андрон.—Теперь надо смотреть в оба, не усмотришь—самому голову намылят.

— Спились! Избаловались! Волку чувствуют! Это к хорошему не приведет!

Егор подошел к крыльцу, принял от жены ковш пенящегося кваса и долго не отрывал от него лысой запотевшей головы. Жена стояла на крыльце, сложив под грудями руки, ждала.

— Ну, и худ же ты, Андрон! Как кошка драная! В чем только душа держится?—сказала Егориха, оглядывая Чижику.

Тот встрепенулся.

— Ничего. Теперь на поправку дело пойдет. Скотина вон только осенью жир нагуливает. Дай срок, и я раздобрею.

Егор Трохин крикнул, вытер рукавом бороду и, не взглянув на Андрона, пошел на огороды.

За огородами, на лугу, трое сыновей Трохина смолили ступицы у приготовленных для базара колес. Над костром висел котел со смолой. Степан с Иваном ловко набрасывали на укрепленную в земле ось дубовое колесо и быстро крутили его палкой, а старший, Кондратий, окуная квач в горячую смолу, водил им по вертящейся ступице. Три бабы—их жены, подвозили на трех телегах новые партии колес и отвозили обратно готовые. Все три женщины были одна к одной и под стать своим мужьям: плотные, сильные, расторопные. Вдвоем умело и легко вскидывали тяжелые колеса на телегу и размещали правильными рядами в перевязь. Двое ребяташек подкладывали в костер дубовых чураков.

Подошел отец. Он уже остыл после бани, только лицо было блее обычного и резче выделялись веснушки. Борода соломенного цвета—скрадывала старость: казался погодком со старшим сыном.

Егор вытер мокрый лоб, наотмашь сморкнулся и сказал строго-деловито:

— Куда столько мажешь? Течет! Только зря смолу переводишь!

Кондратий промолчал, но мазать стал суше.

— Сколько наготовили?—спросил Егор, нагнувшись к колесу и рассматривая спицу.—Чего поставил?—повернулся он ко второму сыну, по работе увидав, что колесо сделано им.—Видишь, брак! Надо было выкинуть!

— Мальченко не досмотрел. Затру, не видно будет,—оправдывался Степан.

Кондратий опустил в котел квач и ответил:

— У меня семь станов.

— У меня пять, — сообщил второй сын.

— Цену надо держать, не сдавать! Лучше до другого воскресенья переждать: может быть, погода сомнется, испортится дорога, тогда подыметя! — Егор помолчал немного, обошел кругом телег, осмотрел и высказал новое соображение: — Недели через три, поди, продналог обявят, тогда хоть не вози — не продашь: мужики без денег будут и без хлеба. Смотрите, соображайте!

Егор повернулся и пошел к селу. Белела холщевая домо-тканная рубаха, раскачивались широкие, коромыслом, плечи.

На мостике у потребиловки людно. День субботний, с работой покончено, — собрались старые и молодые потолковать, послушать.

— Если бы, к примеру, у нас столько было пахоты, сколько у подосинковских, тогда совсем другое дело. А то много ли? Переплюнешь через надел-то! — высказывает недовольно старик, Кузьма Петрович.

— У нас луга, а у подосинковских нет их! Скотину некуда выгонять! В чужом горшке каша всегда слаще! Позавидовал!.. — круто оборвал его только подошедший молодой мужик.

— Давят нас луга-то! Давят, а не только что богатство! — загорячился, забрызгал слюной Кузьма Петрович. — Прошлый год полсотни гусей было. Думал — на неделю по птице, на целый год мяса хватит, пришла осень — продналог! По тридцать копеек за штуку и продал! Вот тебе и с мясом! А корову медведь задрал! Живи вот тут с лугами-то!..

— Болото нас задавило. Иначе сказать — топь. От этого и уклад жизни нашей неправильно идет, — серьезно высказал обстоятельный Федор Чиркунов, недавно городской человек.

Вмешался Андрон.

— Не луга нас давят и не болота мешают — нужда мешает и давит хуже петли намыленной, — начал он мягко и жалостливо. — Главное, взяться не с чего. Нет сил подняться на ноги. Если поднялся, позаправился скотом, тогда уже легко, само собой пойдет на избыток...

Егор Трохин стоял, прислушивался. И неожиданно вскипел, вспыхнула злоба к говорившим. Он вспомнил, что Кузьма всю жизнь свою отлынивает от работы, выезжает на сыновьях да на снохах: что Федор Чиркунов, с виду обстоятельный и серьезный, не с того конца подходит к хозяйству. Он полотер, в село приехал недавно и сел на место умершего брата. В избе на окнах у него кисейные занавески и горшки с цветами, а борона и соха никуда не годятся. Косить и пахать он нанимает.

А Чижик... Андрона Чижика Егор Трохин считал не стоящим внимания. Когда человек из-за пьянства или лени не

может развести хозяйства, это было ему понятно и приемлемо: может быть, и образумится. А если он не пьет и много работает, но хозяйства все-таки нет, то такого человека совсем вычеркивал: безнадежный.

Резко отодвинув плечом стоявшего впереди парня, Егор Трохин подался вперед и с непонятной для него самого, сразу нахлынувшей обидой, начал злобно выкрикивать:

— Не луга тут виноваты! Не земля! Мы сами! На других любим ездить! Нам бы на крыльчке сидеть да побасенки рассказывать! Крестьянское хозяйство вести — не по господскому полу ножкой шаркать! — кивнул он в сторону полотера. — Пускай ложка будет худая, а шлея чтобы крепкая, да и в голове ветер не сквозил!.. Богатство наше, хлеб и скот — кто нам родит? Сами добываем!.. из хребта своего да из головы!..

Выкрикнув это, Егор Трохин повернулся и, не дожидаясь возражений, пошел прочь.

Мужики долго кричали, спорили на мостике у потребилки. Андрону Чижикю тоже надоело слушать. В густевшем сумраке он медленно поплелся к дому. Шел по краю улицы, обходя палисадники и черные силуэты деревьев, напряженно думал о своем:

— „Беда вся в том — бабы нет. Домашнее хозяйство на мужике плохо держится“. — Он не прочь бы жениться, не поздно бы еще. Но хорошая за него не пойдет, а плохую ему не надо. Сыну еще рано. — „Плохо без бабы: порядок не наладишь“, — говорит он сам себе.

В прошлом году ему было особенно туго. Хлеба в уезде родилось мало, телеги никто не покупал. Пришлось на три пуда хлеба променять печную трубу: разобрал по кирпичу с верхушки до потолка. Подошла зима — нет дров, — печку стали топить стропилами с крыши. Когда все пожгли, начали подрубать нижние венцы у дома. Надеялся: „летом поправлю, не все такие времена будут“. На зиму этого топлива нехватило, вырубил под опечьем половицы, — „за-одно потом поправлять“.

Весною пошли дожди и сквозь потолок полило. Тогда оба с сыном постель устроили под опечьем, на месте вырубленных половиц. Так и по сие время живут — без крыши, без трубы.

— „Ничего. Дай срок — поправимся“, — обычно мечтает Андрон Чижик и подзадаривает своего сына, Алексашку, к работе.

## II.

Над соломенной крышей Аксиныной избушки еле заметно струится дымок. Затерла она из пятнадцати фунтов муки на два чугуна и чуть не с полночи гонит, кончает последнюю бутылку. Сегодня праздник. По лугам и по селу плывет колокольный звон. Аксиныя торопится, чтобы не осудили со-

седи — спит, мол, долго, до обедни печку не может истопить.

Пашка и Степка, голопузые, сопленосые, с потрескавшимися от грязи ногами, — уже за столом, играют в черепки, ссорятся. Колька и Митька еще на полу под шубой, — только торчат одни головы, красные как морковки. Сейчас проснутся и есть запросят. Заревела в зыбке годовалая Малашка.

Аксинье некогда. Стукнула попутно Пашку и Степку, тряхнула зыбку:

— Нишкни ты! Покою от вас, аспидов, нет!

Сняла чугунок, залила огонь.

„Славу богу. Теперь только избу проветрить надо“.

Бутылку „первачу“ спрятала отдельно: просил приказчик из потребилочки. Вспомнила неприятное, как в прошлое воскресенье, он, пьяный, приставал к ней, лапал. Мелькнуло: „Если бы чугун двухведерный дал — еще можно бы... Тогда сразу бы пуд стала затирать“.

Колокольный звон гуще. Бабы и девки цветным потоком текут к церкви, что маячит со взгорья окрестным луговым просторам. Плетутся старики, коряжистые, замшенные, в зипунах, в полукафтаньях, в праздничных лаптях с белыми онучами.

Навстречу Аксинье Андрон Чижик.

— Здорово, дядюшка Андрон!

— Здорово-то здорово! А что ты там сегодня делала? — ворчит Чижик сердито. — Я к тебе шел, взглянуть там...

— Вот провалиться, Андрон Павлыч! Сто раз побожусь! Верь не верь — не гнала! Хоть сам поди, посмотри! — говорит она скороговоркой и подносит к глазам конец головного платка, выдавливая слезы. — Без мужа так все и насаждают, задавить готовы!..

Андрон пристально смотрит на нее и равнодушно заявляет:

— Пожалуй, надо пойти посмотреть.

— Ну, что-ж, пойдем! — выкрикивает Аксинья, решительно поворачивая к дому и мысленно ругая себя: — „Эх, дура я, дура! Немытый чугун в сених оставила“!

Андрон колеблется. Он чувствует — гнала она сегодня. Да жалко бабу: как жить с пятерыми детьми? Муж, красноармеец, в прошлом году умер от тифа. В доме пусто.

— Ну, ладно. Не пойду. Только смотри у меня, чтобы не было этого баловства! Накрою — протокол составлю, сидеть придется, — он грозит ей пальцем. Голос строг, начальственный, и сам Андрон теперь верит в свою силу и власть, проникся к себе уважением.

Аксинья еще раз божится и облегченно направляется навстречу плывущему звону.

В церкви, налево от входа, в загородке — староста, Егор Трохин, в пиджаке и вышитой домотканной рубахе. Он выдает

свечи. Его помощник, мельник Гаврило Комар, принимает и бережно складывает в кузов с куделей — яйца. Два яйца — трехкопеечная свечка, три пятачковая. Тут же мешок с рожью — приносят, у кого нет яиц. В алтаре у попа тоже кузовок с яйцами, — дают с поминаниями, и у просвирни кузовок и мешечек...

За окнами, в луговом просторе, жидким серебром играет на солнце река. На лугу, против церкви, лениво крутит тяжелым колесом мельница Гаврилы Комара. Она давно уже пришла в ветхость. Сарай сгнил и полураскрыт, ветер озлобленно выщипывает клочья полустлевшей соломы и свищет в прогнивших стропилах. Плотину часто размывает. Чтобы удержать ее, Комар оставляет несколько люков открытыми и чуть не ежедневно с зятем и сыном заколачивает в гать новые кольца, дыры законопачивает навозом. Мелет она мало.

А на версту выше, в излучине реки, стоит другая мельница, новая — Василья Игохина. В ней не первобытное колесо, а новейшая турбина. Плотина сделана крепко, против любого напора воды выстоит. Но мелет пока тоже неважно, еще не совсем налажена.

Два года назад в село возвратились из Красной армии два молодых мужика: Семен Комар и Василий Игохин. Оба воевали по семь лет. В германскую и гражданскую побывали на многих фронтах, много всего повидали, многому понаучились.

Василий Игохин где-то свел дружбу с инженером, в голодные годы ухитрился подкармливать его, присылал муки и масла, а инженер за это ему чертежное искусство показал.

И вот Игохин, приехав в деревню, развернул перед своим братом целую пачку разных непонятных чертежей. Тыкал пальцем, пояснял:

— Это водяная мельница, только по-другому работает. Видишь, вот эта труба — турбина называется. А это будет крупорушка, это сортировка. Вот тут еще можно электричество применить. Замечательная штука. Но это во второй черед. Сначала за главное приняться...

И принялись. Два года строили братья мельницу, вдвоем, без посторонней помощи. Даже металлические части выковывали сами. Три штуки испортят, а четвертая выйдет и так выйдет, как нужно, в самый раз, надежно и ладно. Крестьяне приходили смотреть на их работу, подшучивали, но те упорно продолжали строить.

Чтобы купить жернов, пришлось продать амбар и корову.

И мельница пошла, загудела; потянулись к ней возы из ближних и дальних селений.

Семен Комар другое привез в свою многочисленную семью. Мельница у них уже была. Да она его и не интересовала. Он приехал с гармонью, с ружьем и сейчас же начал охотиться и гулять с девками. Каждый вечер по улице за ним целым табуном ходила молодежь, распевала песни, плясала.

Сначала незаметнохватило мать, потом перекинулось на отца и десятилетнюю сестренку. Появились большие темно-красные болячки. Семен испугался. Хотел было посоветовать им в больницу поехать, но подумал: „тогда узнѣют“, и сказал:

— Ничего, пройдет. Это иногда бывает—простудное. Мазать чем-нибудь надо.

Родители узнали, откуда болезнь, только, когда еще двое заболели—зять и младший братишко. Кинулись к знахарке, стали пить нашептанные жидкости и мазаться снадобьями. А Семену кто-то посоветовал поспать со здоровой бабой, тогда болезнь может сразу пройти. И эта мысль захватила его.

Девки на улице уже стали сторониться; гармонь-двухрядка больше не прельщала их.

Однажды поздним вечером Семен пришел к Аксинье и выложил два рубля:

— Бутылку первачу!

Сначала сунул было в карман, потом помялся, опять вытащил, поставил на стол.

— Ты что?—спросила Аксинья.

— Здесь можно выпить?

Аксинья подошла к окошку, прислушалась, плотнее задернула занавеску и неохотно сказала:

— Пей. Только поскорее—не пришел бы кто.

Подала ему хлеба, пяток огурцов.

Семен выпил, налил Аксинье, но та отказалась.

— Ты что же? Давно ли отстала? Или брезгуешь?

— Не хочу. Голова что-то болит,—ответила она и вышла в сени.

Семен опорожнил бутылку, с'ел все огурцы и, пошатываясь, пошел к двери, высунул голову.

— Аксинья! Ты где?—кликнул он тихо.

— Тебе что? Кончил, что ли?—Аксинья вошла в избу.

Семен неожиданно дунул на лампочку и впотьмах крепко охватил бабу, стал мять ее, нашаривать губами ее губы. Изо рта у него скверно пахло. Аксинья отвертывала от него лицо, силилась вырваться, задыхаясь, гневно выкрикивала:

— Уйди, проклятый! Гнилой чорт! Обалдел, что ли? Уходи?

Семен молча, пьяно сопел, пытался повалить ее, но это не удавалось. Наконец, Аксинья освободилась. Кинулась к залавку за спичками. Вздупа. Семен опять было бросился на нее, но она схватила скалку.

— Не подходи! Голову размозжу!—Стала размахивать скалкой.

Семен сел на лавку, отдышался немного. Заговорил глухо, просительно:

— Слушай, Аксинья. Договоримся по-любовному. Три пуда муки дам.

— Убирайся к чорту! Ишь, что удумал!  
 — Ну, четыре. Мешок. Целый мешок!  
 — Уходи!—закричала Аксинья, наступая со скалкой.  
 Семен поднялся, попятился к двери.  
 — Слушай! Еще крупы мешок прибавлю. Муки и крупы.  
 Два значит!..  
 Аксинья кинулась к окну. Отворила.  
 — Сейчас закричу! Люди сбегутся. Уходи скорей!  
 — Стерва! Лахудра!—Семен нехотя вышел за дверь...

### III.

Сыновья у Егора Трохина один к одному: рослые, сильные, работу не рвут, не горячатся; как у отца, во всем у них уверенность, и все выходит споро. Старшие трое служили в Красной армии, повидали вдосталь людей. Но уважения к родителю не потеряли.

Жены у них тоже подстать им и с виду и в работе. Перед чужими знают себе цену. Когда в праздник идут из церкви, то грудь выпячивают вперед, словно несут на блюде подношение почетному гостю.

Егор Трохин выбирал их по-старинному—лично сам с женой, мало полагаясь на вкус жениха. Требование к каждой будущей снохе пред'являл такое же, как к племенной лошади-матке: чтобы кровей хороших была, ростом подходяща, вынослива в работе, старшим послушна и весело смотрела—унылые в работе не проворны и тело не держат. Когда такая девка находилась, он говорил сыну:

— Вот смотри: хороша ли будет?

Если сыну намеченная невеста не нравилась, то родители подыскивали другую и предлагали делать выбор.

Но выходило почти всегда так, что вкусы совпадали. Все трое жили со своими женами ладно. Двое, выделенные, сколачивали самостоятельные хозяйства, к отцовскому паю постепенно прикапывали личное. Жили каждый своим гнездом, но родителя своего слушались. Все они были дельные, смекалистые хозяева, достаточно знали жизнь. А Егор Трохин был вдвойне дельнее, вдвойне смекалистее и жизнь знал куда больше их. Он чувствовал самое нутро ее.

Тридцать лет назад он первый ввел в село тележное и колесное ремесло. Земли мало и родит она не важно. Увидал он, что одной землей хозяйство не расширить, а тут в работники проходжий тележник навернулся. Потолковал он с отцом своим, раскинул перед ним планы, убедил: — эвона лесу-то сколько!—и пустился в новое дело.

Но бросать крестьянское хозяйство тоже не годится— без земли крепко не войдешь в жизнь, корни будут наружи. Егор стал вести то и другое. Весной и летом, в горячую кре-

стьянскую пору, он в поле или на лугу. Когда наступит затишье,—за телеги и колеса принимается. Так в течение тридцати лет строил свое крепкое хозяйство, плодил детей, отделял их, помогал им устраивать свою жизнь. На него глядя, половина села занялась ремеслом. Но у Егора Трохина размах был шире и хозяйственный глаз острее. Стал он первым человеком в волости...

А теперь Егор Трохин, как бельмо на глазу,—все на него неприязненно кивают, тычут пальцами; всем он чужой и враждебный.

Это больше всего и волновало. То, что он потерял новый пятистенный дом, фруктовый сад, несколько холодных построек и лучший скот,—это было еще терпимо и можно понять. Но никак не вмещалось в голову другое. Он, Егор Трохин, которому все завидовали и у которого учились, как жить,—вдруг оказался внизу, а наверх поднялся бобыль, Андрей Семин, без коровы, без лошади, с гнилой избенкой. До сорока лет неудосужился крестьянским хозяйством обзавестись.

Жизнь, что ли, наизнанку перевернулась? Ничего не разберешь!

Он иногда высказывал свое недоумение соседу, старику Терехе:

— Пойми ты! Я не о правде толкую: сам, мол, своими руками да головой заработал и все отняли. Плевать на это! Тут в другом дело. Равнение не по той линии идет! Кто жизнь-то строил? Тот, кто рано вставал и поздно ложился, да к труду своему голову прикладывал, мозговал, чтобы труд был не лошадиный, а человеческий. А теперь кого на амвон поставили? Как они будут других учить строить жизнь, если своя под худой крышей стоит? По-ихнему выходит, что человеческая голова теперь цену потеряла. На студень не годится! Не рано ли?..

Тереха был спокойнее, он меланхолично философствовал:

— Пушай их поскачут. Это кровь полирует. Нас, таких просмоленных, сразу не похеришь. Нам—под зад ногой, а мы, как „Ваньки-встаньки“,—перекувырнулись и опять голова наверху. Повалить нас навсегда трудно—нам земля силу дает...

С годами, Егор Трохин ко многому пригляделся, привык и стал относиться ко всему спокойнее. Да и жизнь снова к старому придвинулась. Опять можно было за дело приняться, не для других, не для показу, а для себя, по-настоящему.

Старик Тереха оказался прав: они недолго лежали беспомощными—с натугой, но перекувырнулись. Теперь посматривают на тех, кого судьба обидела силой, двуличием и хозяйственной сметкой, и, довольные, исподтишка посмеиваются...

Во дворе, под навесом, Егор Трохин вытаскивает колесные ступицы, а Иван с Мишкой долбят гнезда и строгают спицы. Иван такой же, как и отец—хмурый, неразговорчивый, всегда чем-нибудь да озабочен. На лбу у него уже много глубоких

складок, хотя ему нет и тридцати. С прошлого года стал отпущать бороду — растет отцовская, реденькая, соломенного цвета.

Мишка, примеривая спицы, тихонько, раздумчиво посвистывает, а сам нет-нет да и вскинет голову кверху, — там, высоко над крышей, плавает бумажный змей. Пускает его Гришка Упырь, его сверстник, сын Федора Чиркунова.

— „Счастливец, знай себе погуливает. А тут вот ломи наравне с большими“, — завистливо думает Мишка, кося взгляд на отца и брата.

Мишке еще только четырнадцать лет, но работает он вплотную уже третий год. Вместе с остальными встает и до потемок стоит у верстака.

Вертится токарный станок, с визгом вгрызается в дерево острый резец, летят стружки, древесная пыль. Желтая отцовская борода склонилась над ступицей, она в стружках и опилках. Тяжело повернулась в сторону Мишки:

— Ну, ты, что ворон-то считаешь? Пошевеливай руками-то! Рассвистелся! Свистун!

Мишка перестал свистеть и принимается усердно строгать. Хочется покурить, а при отце нельзя. Можно бы пойти в хлев, будто, до-ветру и там осторожно подымить, но он только что ходил туда. Мишка глотает слюну и с досады толкает ногой подвернувшуюся курицу. Та с испуганным криком отлетает. Отец отрывает от станка голову.

— Помешала! Когда из тебя, оболтуса, эта дурь выйдет?..

Иван перестает долбить и вынимает кисет.

— Ободья, пожалуй, в среду надо гнуть, — обращается он к отцу.

— Что ж, давай в среду.

— Вот следовало бы десятка два дубков взять для трости-то, пока не сменился лесничий. А то, кто его знает, как с новым-то — может быть не поладим, — хозяйственно высказывает Иван.

— Что-ж, с'езди, — соглашается отец. — Мишка! поди-ка сходи... Ах, сукин сын! Опять убежал! — Егор оборачивается к сеням, где сноха моет пол. — Настасья! Принеси квасу!

Лицо у Настасьи красивое и смелое, горит и в поту от натужной работы. Подоткнутая спереди и с боков юбка до колен обнажает крепкие, выносливые ноги. Подходя к свекру, она поспешно обдергивает ее и, подавая ковш, говорит:

— Тятенька, немного пей, сейчас самовар поспеет.

По праздникам, после базара, к Трохину приходили не только отделенные сыновья, но часто и племянники. За чаем говорили, кто почем продал, какие цены на другие товары, рассказывали о слышанных новостях.

Старший, Кондратий, не в отца — черный и немного согнутый, безо времени начавший сидеть и кашлять газами, ко-

торых наглотался в германскую войну,—стал обстоятельно и деловито докладывать:

— Базар нынче не в пример большой был и покупателя много понаехало. Цены стояли добросовестные...

— Силантий сбавил. Сегодня можно бы на рубль дороже провести,—вставил угрюмо второй сын.

— Сволочь! Торгаш еще называется! Всегда базар ломает!— Сплюнул со злостью Егор.

Мать налила мужикам чай. Настасья подала на стол пирог, горячий, зарумянившийся, из своей необделанной пшеницы.

— Разрежь!—кивнул Егор жене и первым взял большой кусок.

Внутри пирога краснела сочная морковь. Потянулись к пирогу и остальные. Ели неторопливо, серьезно, не оставляя на столе крошек.

— Ведь только в двух селах во всей округе ремеслом занимаются. Если бы все дружны были, какую хошь цену можно бы поставить,—рассуждал Егор.—Базаров два—надо поровну на тот и на другой. Да не весь товар, а половину попридержать. И тогда цену ставь крепкую, не сдавайся—все, как один...

— С нашими мужиками разве сговоришься! Норовят с'есть друг друга! Один полтину уступил, двое уж рублевку скидывают!—с озлоблением добавил Кондратий и закашлялся, вылез из-за стола, торопливо пошел к порогу.

— Василий Игохин на базаре толкался. В Москву, слышь, собирается,—сообщил между прочим один из племянников.

Егор повернулся к нему.

— Или опять что надумал?

— Хочет крупорушку и маслобойку ставить. Водяной силы, говорит, много: использовать надо.

У Егора внутри что-то вспыхивает и разливается. Всякий раз, когда он слышит о чем-либо новом, что затевает Василий, у него на некоторое время появляется неприятное чувство. Егор порывисто подымается, привычно шаркает по груди тремя пальцами и, не глядя, кивнув к божнице, говорит, не то иронически, не то сочувственно:

-- Мозговит больно. Не ко время. Пора не такая...

Василий Игохин тоже племянник, — двоюродный. С его умершим отцом Егор раньше жил не в ладу, считал его плохим, нерачительным хозяином. Его постоянно была судьба. То у него в рабочую пору жена заболит, то лошадь падет, то корова без теленка проходит. Так из года в год и сыпались на него несчастья, не давали оправиться.

Василий совсем был другим. Приехал с фронта безо всего и сразу повернул колесо в другую сторону. Да так повернул, что Егор диву дался. С одной стороны приятно, что сказалась родная трохинская кровь, а с другой—за сердце крючком хва-

тает: сразу перешагнул через всех них, Трохиных. Главное, даже и поговориться не захотел с дядей.

Ночью, в постели, в маленькой светелке Егор Трохин долго не может заснуть. Жена рядом храпит. От нее жарко и тесно. Он молча толкает ее в бок и вытягивается, выправляет из-за ворота рубахи застрявшую бороду. Всякие ненужные мысли лезут в голову, распирают ее, отгоняют сон. За стенкой Иван о чем-то сердито говорит с женой. Настасья всхлипывает.

Думает Егор Трохин: какая-то трещина образовалась в нем. Еще и сам не знает, где и какова, но чувствует—ширится она. Что-то надвигается, под'едает силы изнутри, колеблет самые устои. Опять выплывает Игохин, сухой, жилистый, с упрямым трохинским лбом, но быстрый и горячий. Стоит Василий Игохин, как сосна-одиночка в чистом поле, кругом опуханная: со всех сторон видно, всем в глаза лезет, а ему, Егору—пуще.

Он в бессоннице ворочается, сердито отбрасывает ногой голые женины ноги и натягивает одеяло, но жарко и без него. Мельком проплывает, что крупорушка и маслобойка хорошие вещи, он когда-то мечтал об этом.

Егор порывисто сдвигает одеяло и сердито кричит к стене:  
— Чего раскричались? День, что ли?! Спать надо!

За стеной смолкли. Жена повернула голову, нашарила рукой.

— Ты что?

— Спи!—сурово оборвал Егор и уткнулся лицом в подушку.

#### IV.

Еще недавно Комаровская мельница день и ночь работала в оба постава и все-таки всего не смалывала. Помольщикам надоело ожидать очереди по несколько суток и они ехали на другую, за десять верст.

Но вот построил Василий Игохин свою турбинную, и у Комара сразу стало просторно. Крутится только один жернов да и тот едва-едва.

Наруже, у старой, обглоданной коновязи—изредка какая-нибудь лошаденка.

Нет у Комара надежды и на будущее: мелет его мельница хуже соседей.

Встретив Василия Игохина, Гаврило Комар набросился на него со злобой:

— Ты с'ел меня! Я двадцать лет кормился, а ты пришел и сразу по миру хочешь пустить! Почему не строил в другом месте?

— Я в своем селе построил. Место общество отвело,—ответил спокойно Игохин.

— Ты цену сбиваешь! Суму надеваешь на меня! Нигде постольку не берут!

— С меня и этого хватит с избытком. Вон, как мелет-то!

— Я тебе не прошу!

Игохин с усмешкой посмотрел на черного, щетинистого Комара, спросил иронически:

— Соли на хвост насыплешь, или еще что сделаешь?

Комар повернулся и потряс кулаком:

— Попомни!

— Ладно! Попомню! — откликнулся со смехом Игохин, смотря на белую спину, короткую и прямую, похожую на куль муки...

Турбина глухо и напряженно гудела, каменные зубы жерновов торопливо и озабоченно грызли невидимое зерно. Мужики подходили к ларям, в которые быстрым ручьем бежала мука, пробовали пальцами и ртом тонкость размолы и выходили наружу. Старший Игохин—Федор, весь в мучной пыли, деловито сновал по сараю. Подымался наверх к деревянным ковшам, смотрел, не нужно ли засыпать нового зерна, регулировал камни или спускался в люк взглянуть на работу машины.

Наруже, неподалеку от плотины, на бревнах сидели попольщики, мужики и бабы. Тут был и дед Тереха, приехавший с внучкой Фроськой молоть рожь.

Дед Тереха не привык сидеть без дела, он ведет беседу с мужиками, а руки непроизвольно шарят по земле, подбирают мочалочки, лычки и привычно крутят веревочку-обору. Скрутит одну, примется за другую. Накрутит несколько штук и кричит внучке, бросающей в воду камешки:

— Фроська! Возьми убери—пригодится!

Подошел Василий, только что пришедший из села сменять брата.

— Мир беседе! О чем речь ведете?

— Здорово, Василий Петрович! Да вот дед Тереха побасенки рассказывает.

Василий присел, стал вертеть сигарку. Руки у него узловатые, мужицкие, а усы подстрижены по-городскому.

— На побасенки дед Тереха мастер, неделю слушай—не переслушаешь,—говорит, улыбаясь, Василий и следит за мослистыми, жилистыми руками старика, проворно скручивающими лычку.—А мы с братом хотим крупорушку и маслобойку соорудить. Только вот пороку не хватает, трудно осилить.

Тереха поднял голову.

— Брат уж говорил. Это гоже, вы, ребята, удумали. А то, как на счет крупы или масла, так за пятнадцать верст поезжай. То ли дело, когда все под руками! Хорошо!

— Хорошо-то хорошо, да не при таком случае. Теперь нельзя развернуться—налогами задавят,—деловито сказал сте-

пенный мужик.—Таких людей поощрять надо, а мы их под ноготь. Это не дело.

— Ничего, обтерпимся! Мы двужильные, трохинского роду,—засмеялся Василий.—Обидно только, что никто из властей ни разу не заглянул на мельницу. Нашлось бы кое-что посмотреть. У нас ведь тут много такого, чего нигде не встретишь, и сделали все сами с братом, своими руками. В кармане гроша не было. Не доедали, не досыпали.

— Чего тут! Знаем! Наследство-то после родителя не ахти какое осталось: два топорища да от лаптей голенища. Что об этом говорить,—подтвердил Тереха.

Подъехала с возом сноха Егора, Настасья. Она была в полукафтаны и мужских сапогах, краснощекая, разгоревшаяся.

— Эй! Кто последний? Куда становиться?—крикнула она к мельнице, задерживая лошадь.

— Вон рядом с Сергеем. После него будешь,—ответил Василий и опять повернулся к мужикам.—Одно время хотел было в город, уж очень трудно здесь да и поддержки никакой,—продолжал он.—Но подумал над этим и махнул рукой. В городе тоже не сладко. А кроме того, там таких Ванек и Васек, как я, на каждом шагу—все тянутся туда. А здесь их все-таки не так уж много... Вон и мельницу соорудил. Скоро электричество пуцу. Пусть люди язвят или завидуют, а я возьму сам все сделаю и зажгу. Вот вам, любуйтесь.

— Это верно. Жизнь надо взять в оборот, а не рассосувать,—поддакнул Сергей Силин.—Без соображенья ломи двадцать часов в сутки, все толку будет на грош.

Дед Тереха расщепил гнилыми зубами лычку, обрывок выплюнул.

— Вся суть в том, чтобы умеючи жить.—Он вытянул руки с растопыренными пальцами.—У вас вот—сквозь пальцев все сыплется. А у нас—во! Здесь! Крепко!—он сжал кулак.—В этом вся суть. Ко мне прошлый год внук из города приехал. Жалуется, говорит, на год сапогов кожаных не хватает. Подумать—на год! А я говорю: Мать, достань-ка мои подвенечные! Показываю. Видишь, почти новые. Вижу, говорит, недавно покупал. А я отвечаю: Женился, мил друг, в них! Полсотни годков скоро будет. А носил-то вот как. Учись! В воскресенье соберусь в церковь—их через плечо, а сам босиком до паперти. Отстою в них обедню, и опять—веревочкой за уши да через плечо. А дома смажу деготьком и на стенку... Вот как нужно беречь добро! А вы что!—он повернулся к внучке:—Фроська! Поди возьми!

В дверях мельницы показался Федор.

— Ты что же—пришел сменять, а разговорами занимаешься!—крикнул он брату.—Ну-ка, иди поглотай мучицы! Мне надоело!

— Сейчас! Только переоденусь! — Василий направился к избушке. Выходя обратно, переодетый в рабочую куртку, он во дворе встретил Настасью.

— Должно-быть разбогател, не хочешь здороваться!—сказала она с ласковой улыбкой, протягивая ему руку.

Василий посмотрел на ее розовые от загара и здоровья щеки, на горящие, возбужденные глаза и сам сразу вспыхнул, забывшись, раскинул руки, нагнулся к ее лицу. Но Настасья испуганно оттолкнула и приглушенно засмеялась.

— Куда ты, лешман? Перемажешь мукой! Догадаются!—она осторожно потянулась к нему и поцеловала в губы, потом отскочила и промолвила громко, по-деловому:—Я с лошадьё уйду, не буду ждать, а вечером попозднее приду—может быть моя очередь подойдет!

— Ладно, приходи!—стараясь быть безразличным, ответил Василий и деловой походкой направился к мельнице.

---

Вечером Василий засыпал трохинскую рожь. Некоторые из помольщиков были в избушке, остальные спали в своих телегах. Гудела турбина, шаркали тупыми, каменными зубами жернова, за сараем звеняще шумела вода. И звуки эти таяли, расплылись в густоте синей предосенней ночи. Неподалеку от плотины, прижавшись к своей телеге, стояла Настасья, раздумчиво смотрела на воду. Из черно-блестящей неподвижной поверхности смотрели звезды. Изредка, какая-нибудь срывалась и, чертя по воде огненную полосу, быстро летела кверху, словно со дна омута на поверхность и тут гасла.

Подошел Василий, прикоснулся к плечу. Настасья вздрогнула—от прикосновенья ли или от горячего дыхания, неожиданно пахнувшего на нее; быстро повернулась.

— Ну, тебя! Ты испугал меня!—она прислонила свою щеку к его щеке и глубоко вдохнула.—Сердце что-то тоскует.

Щека у нее была горячая, а рука чуть-чуть дрожала. Василий волнующимся шопотом вдохнул в самое ухо:

— Иди туда, во двор, я сейчас приду.—Он растаял в черной тени сарая.

Настасья неуверенным шагом, с плывущей головой направилась к воротам. Истомно ныло в коленках, горело внутри...

Наутро в село Василий не пошел. Так делал он часто, когда хотел заняться работой,—не обычной, повседневной, а другой, которой всегда горел. В сельском доме заниматься было нельзя: мешали братнева жена с ребятишками и старуха мать.

А здесь, в мельничной избушке, была крохотная каморка с табуреткой и столом, в ней он и занимался. На полке стояло с десятков истрепанных книг: об устройстве мельниц, лесопилок, кирпичных заводов, об электричестве и прочее. Доставал он

ту или другую из них и принимался перечитывать десятки раз читанное. Набрасывал карандашом схемы, вычерчивал детали и пытался преодолеть непостижимые формулы. Мысль буйно кружилась среди сотни вопросов, обыденных крестьянских и тех, которые сказочной мечтой дразнили его со страниц книг. Хотелось связать их, напитать жизнью и живые, действенные выдвинуть в свет,—так же, как это было с турбинной мельницей.

Он разрабатывал план осушки болота и добычи из него торфа для удобрения полей. Сделал чертеж здания будущего Народного Дома. Составил проект устройства общественного кирпичного завода с особым экономическим способом изготовления кирпичей.

К каждому крестьянскому предмету, ко всякой работе подходил он теперь не так, как семь лет назад,—все рассматривал новыми глазами, прощупывал новым сознанием.

Придя теперь в каморку, он достал книжку по электричеству и открыл ее на заложенной странице. Но заниматься не пришлось: в дверь постучал брат и вполголоса сообщил:

— Там дядя Егор пришел, хочет тебя повидать.

— Егор? Зачем это он?—удивился Василий,—что-нибудь не спроста.

— Спрашивает, скоро ли крупорушку пустим—ему молоть гречиху нужно.

Егор Трохин, верно, пришел не спроста. Много недель его подмывало желание: пойти к Василию и посмотреть, что у него и как. Много он наслышался об его мельнице, а сам ни разу не заглянул в нее, да кстати и поговорить, как парень мыслит о жизни. Трудно было побороть себя—ему, Егору Трохину, первому пойти к непокорному и своевольному племяннику. Но он, свернув свое самолюбие, как тугую пружину, все-таки пошел.

Василий приветливо протянул руку.

— Здорово, дядя! По-делу, что ли?

Егор хмуро и подозрительно посмотрел на него.

— А если не по-делу, просто так, лясы поточить да посмотреть, как вы тут устроились. Чай, вы не чужие мне!.. Или нельзя? Не пустите?—В голосе у него слышалась насмешка и настороженность.

— Ну, что ты! Я очень рад! Давно хотел зайти к тебе и позвать, да вот все дела. Закружился.

Егор прощупал его глазами, чуть-чуть ухмыльнулся.

— У нашей Васены на каждый день дела припасены! Когда тут дядю позвать! Ну, ладно! Показывай свое изобретение!

Пошли на мельницу. Егор Трохин оглядывал и ощупывал каждый предмет: крепко ли сделан, отвечает ли своему назначению; спрашивал: кто делал его и сколько времени. Замечания свои высказывал коротко и неопределенно, вроде: „нда-а“, „ничего—живет“, „что ж, ладно“...

Василий с удовольствием показывал те части и приспособления, которых не было на других мельницах. Он увлекся и рассказал дяде о некоторых своих проектах, мучивших его последнее время.

— Ведь сколько всего можно применить в нашей жизни! Надо сделать так, чтобы человек как можно меньше затрачивал силы и время. Велика ли наша трудовая жизнь: сон да еда да всякие болезни,—вычти-ка, много ли в чистоте останется? Мы много топчемся на месте и размахиваем попусту руками. Главное—надо силы природы использовать.—Василий мягко улыбнулся.—Природу и по декрету разрешается эксплуатировать.

— Для кого ты это все стараешься: для себя или для них?—Трохин через плечо ткнул большим пальцем к селу.

Для Василья этот вопрос был неожиданным. Он никогда глубоко не задумывался над ним. Ему было безразлично, работает ли он лично для себя или для кого-то другого,—захватывала идея и выполнение ее. Его жгла и мучила жажда творчества. Через него выявляла себя творческая сила, жившая в бесконечной цепи предков и неожиданно по-новому осознавшая свою сущность.

Он с недоумением посмотрел на дядю.

— Для кого строю? Для себя и для них! Жизнь надо переустраивать, чтобы жилось всем лучше. Вот чего я хочу!

Егор помолчал немного. Носком сапога отбросил валявшийся под ногами булыжник и подал совет:

— Если для себя, то надо делать это, пока что, с опаской—могут отнять. Если же для них, то...—он один глаз насмешливо сузил и дернул углом губ,—то следует обдумать, с какого конца начинать...

Сказал и сейчас же сунул руку—боялся: вот-вот развернется туго стянутая пружина.

Когда отошел, сдерживать было уже не нужно. Стиснул зубы, скрипнул ими и плюнул—словно выплюнул кусок злобы, першивший в горле. После него нахлынула горечь обиды. А в голове застряла смутная мысль, тоже политая желчью—что в жизнь идет теперь что-то другое, не то, с чем шел он, Егор Трохин. Идет оно из тех же корней, но другими путями, мимо него. Это было особенно больно и против желания озлобляло.

Пришел он домой и, ни с кем не разговаривая, ткнулся в постель. Лежал, запершись в светелке один, до самого полдня,—пока не перекипело внутри.

После обеда принялся за ступицы.

## V.

Улица широкая и длинная, стань посередине—не увидишь концов. По обе стороны вытянули шеи колодезные журавли,—

утром и вечером неустанно кланяются, курлычут. От них шныряют с подоткнутыми подолами бабы и девки..

Из-под горы показалась скотина. Солидно идут, покачивая отёвшившимися животами коровы, взягивают телята. По дороге под одной сплошной пестрой овчиной плывет овечье стадо. Мычанье, бляенье, бабий и детский крик. Над улицей в гаснущих лучах густо толчется рыжая пыль.

Дед Тереха стоит у крыльца и кричит в избу:

— Маланья! Загони бычка! В огород попадет, ноги переломает!.. Нно, ты, паршивец! — дед Тереха, растопырив руки, старается обойти бычка, но тот, подбросив зад и обдав хозяина комьями земли, понесся дальше, дрыгая передними и задними ногами.

У соседнего двора, завязив подворотней голову, визжала супоросая свинья. Бабы, ребятишки метались по улице, загоняя молодую, взбалмошную скотину.

Показались стаи гусей. Шли в перевалку, серьезно, не спеша, точно делали прогулку—в праздник, в праздничных чистых нарядах. Из-за поворота выехал верховой из соседнего селах Скакал без седла, высоко взмахивая руками.

— Павлушка! Куда поскакал!—крикнул вдогонку дед Тереха, но тот вместо ответа неопределенно махнул рукой и утонул в пыли.

— В уезд, поди. Куда же кроме? Они, спиринские, часто гоняют,—ответила за него от своих ворот брюхатая баба.

Трудовой день окончился. Медленно, лениво надвигался вечер. Выходили мужики и бабы на крыльцо или к палисаднику перед ужином посидеть в компании, потолковать.

Возле дороги подростки играют в городки, и проигравшие, под общий смех, возят своих товарищей на закорках. Ребятишки поменьше заняты своим,—то тут, то там пестреют, точно цветы полевые: белоголовые, черноголовые, в синих, красных, желтых рубашках и платьях.

Вдова Афросинья перед двором домолачивает овес. Ей помогает десятилетняя Дунька, а малыш лежит тут же в зыбке, подвешенной к перекладине ворот.

Напротив, у крыльца группа мужиков. У них спор и крик о земле и продналоге.

Бабы, поодаль, тоже—стайкой пестрой, и ведут беседу о своем, бабьем.

У Игната Коблова, возле палисадника Матрена-вдовуха остановилась на минутку с соседкой Дарьей. Шла с колодца. То да сё—и заговорила, забыла, что дома ждет свекровь. А та мечется по крохотной избушке с покосившимся полом. В кути, на соломе—теленок. Только сегодня отелилась корова. Он еще не стоит на ногах, жалобным тонким мычаньем зовет мать. Под полатями, на койке—двое ребятишек, третью неделю не встают, маются животами. Оба синие, тощие, скрючились,—

словно из них выкачали жизненные соки. Свекровь глянула в окно и, как была с вальком, так и выскочила с ним за дверь.

— Что ты там, халява, раскудахталась? Теленок обрелелся! Гуще напылав синий, предосенний вечер.

Медленно выкидывая ноги, улицей прошел длинный и нескладный пономарь Памфило. Все знали—идет к заведующему потребиловкой играть в шашки.

В проулке пиликнула гармошка Терехина внука—Фадейки. Стала кучниться молодежь.

Вскоре у пожарного сарая Фадейко отчекрыживал со звонким перебором плясовую; в широком кругу плясали: солдатка Аксинья и потребиловский приказчик. Аксинья, кружась и помахивая платком, выкрикивала:

— Ах, что ж не плясать!  
Что же мне не топнуть!  
Неужели годо мной  
Половицы лопнут?..

В избе Андрона Чижика, Алексашка, сын его, доделывая телегу, с неохотой строгал круглые березовые продольники. Маленькая лампочка с закоптившим стеклом светила плохо, да и скобель иступилась. А за окном дразнила, насмешничала гармонь, манила частушка:

Нынче плачет твой родитель,  
Стонет стоном капитал:  
Пролетарий победитель  
Господином в мире стал...

В дверях—Колька Демидов и Мишка Трохин.

— Ты что же не шабашишь, или всю ночь хочешь работать?

— Да вот батко велел дострогать. Сейчас кончу,—обрадовался Алексашка.—Ну-ка валите, ребята, сверните, а я пока вот тут немного шаркну! Табак вон там на окне.

Мишка потянулся за кисетом.

— А мы с отцом уже давно покончили. Засветло. Материал сухой, струмент хороший—дело так и кипит.—Он потянулся к лампе раскуривать цыгарку.

— Только что видел спиринского Павлушку. Говорит, что „Азбука коммунизма“ товарища Бухарина семь гривен стоит. В уезде можно достать,—сообщил Колька, беря из рук Мишки на-половину искуренную цыгарку.

— Оставьте покурить-то, черти! Всю вытянули!

— Ладно. Другую свернем, успокоил Демидов.—У тебя сколько?

— Двугривенный.

— Ну а у меня двадцать семь. Значит, мало. Надо еще подкапливать... Спиринские ребята комсомол у себя организовали. Кто записался, того могут в город послать учиться, даже

без спросу родителей. Вот бы нам... Пашка с Сенькой уже поехали.

— Куда? В уезд?

— Ну, в уезд.—Колька через зубы цыркнул на стружки.— В Москву!

Алексашка отбросил скобель.

— Ну, давай закручивай другую! Чорт бы нас побрал!— Он вытащил из-под лавки сундучок, достал оттуда старый кошелек и вытряхнул на стол несколько истертых бумажек.—На, держи! Кажется, еще двадцать одна. В воскресенье после базара еще дам... Небось, почитаем и мы!

Мимо окна прошла с песнями толпа молодежи. Ребята погасили огонь и вышли на улицу.

## VI.

Новый двухведерный чугунок, сунутый потребиловским приказчиком в заднюю дверь, солдатка Аксиныя пронесла крадучись, по задворкам. Пришла домой и тут же затерла целый пуд.

Едва успела управиться, как в калитку—шась Андрон Чижик.

— „Чтоб тебя шут ободрал—не во-время принес лукавый!“— подумала Аксиныя и бросила на печку, где стояла кадушка с закваской, ребячье рваное пальтишко.

— Ну, здорово, баба! Чем тут у тебя пахнет?—Андрон оглядел избу, повел носом.—Как быдто, что-то не того...

— Да нюхай! Ищи! Далось им... Душу мне извели! Так и думают, что каждый день гоню! У других лучше поискал бы!

— Что-ж, и у других поищу. Мое дело искать. Жалованье за это получаю.—Андрон сел на лавку.—Как будто дрожжами попахивает.

— Со свету вы меня сживете. Муж помер, свекор не принимает. Куда я теперь денусь?—Аксиныя обняла Пашку и Степку, наклонилась к зыбке, где спала Малашка, и заголосила:—Сиротиночки вы мои горемычные, что мне теперь с вами делать? Нет у вас отца заступника!..

— Ну, чего ты, дуреха, нюни-то распустила? Резать тебя, что ли, пришел?—Андрон поднялся с лавки.—Наказанье мне с вами. Еще сам в тюрьму угодишь.

Направляясь к двери, он подозрительно покосился на печку.

На широкой безлюдной улице дул порывистый ветер, по дороге крутились волчки пыли. Стоял, поджав лохматый хвост, Терехин Полканка, старый и глухой, весь в репьях. Он то-скливо смотрел в землю, наставив по-ветру правое ухо.

На крыльце солдатки Варвары гнусливо тянул пятилетний Филька:

— Ма-амка! Ма-амка!

— Ты что кричишь?—спросил Андрон, подходя к крыльцу.

— Есть хотца!

— А где мать?

— С Сёмкой мельником в сарай ушла.

Андрон переступил порог в сени, в темноте на что-то наткнулся. Вздул спичку и увидел два, прислоненных к стене, мешка. Любопытствуя помял их. Один был мягкий, с мукой, в другом—похоже на крупу.

— „Ишь ты! Откуда ей такое счастье привалило? Ну, ладно, мое дело сторона. Четверо детей. Как тут будешь жить?“— Вышел из сеней и хозяйственно притворил дверь.

Позднее, Андрон докладывал председателю совета:

— У Федора Костерина нашел кадку с закваской—вылил. У Степановой снохи самогонную трубку,—на дворе, под лошадиными яслями была спрятана. Обоим пригрозил, чтобы не баловали, а то с понятами нагряну.

— А у солдаток?—спросил председатель.

— У них, как будто, ничего. Везде шарил. Боятся...

... Надвинулись осенние слякотные дни, ветряные, непроглядные вечера.

Над лугами зыбились густые, знобящие туманы. К югу тянули журавли. В луговых просторах попрежнему разгуливали бесчисленными стаями домашние гуси. Иногда они начинали неожиданно махать крыльями, напряженно, с тревожным гоготанием вытягивали шеи,—многие десятки враз. Вот-вот снимутся и полетят—за моря, в жаркие страны, куда тянет их вспыхнувший инстинкт. Но они снова опускали крылья и спокойно приникали головами к земле...

На дорогах блестела жирная грязь, цепко хватая за колеса, за ноги людей и животных. По вечерам на улице пусто. Изредка по обочине дороги чавкали лапы прохожего и где-нибудь из-под подворотни лениво тьявкали пес.

Сквозь потолок у Андрона Чижика стало протекать, но это не мешало Алексашке с товарищами: Колькой Демидовым и Мишкой Трохиным по вечерам читать вслух „Азбуку коммунизма“ товарища Бухарина.

Желтыми точками смотрят из окон огоньки. Все люди по своим избам. Мало кто ходит в поседки осенними слякотными вечерами.

В избе Егора Трохина душно и парко, пахнет жирными со свиной кожей,—семипудового борова лишь вчера зарезали. За столом только двое. Иван—в город уехал, жена его на мельнице овес мелет, а самому Егору не хочется ужинать: несколько дней нет аппетита. Лежит он на горячей лежанке, прислушивается к голосам жены и сына и думает о своем.

После общего бесхозяйничанья, толчеи и развала жизнь заметно начинает налаживаться, выходить на правильную ли-

нию; люди становятся на свои места. Лентяй ты, пьяница—для тебя одно место; если ты трудолюбив, но не варит шарик по хозяйству или не умеешь копейку сберечь—место твое тут же, неподалеку; а если у тебя руки золотые и голова в порядке—то, пожалуйте, с почетом в первые ряды.

Все, как и следует быть в жизни.

Он, Егор Трохин, снова выдвигается на свою прежнюю линию. Скота не меньше, чем у других, по одежде—тоже не последние в селе, материалу для работы запасено на целую зиму, а на будущей год думает за стройку приняться—новую большую избу... Все, как и полагается.

Но беспокойна душа у Егора Трохина, появившаяся в ней за последнее время трещина все растет, все ширится. Он еще недостаточно прощупал ее своим сознанием. Еще не знает, почему она появилась и надолго ли; но чувствует—раскалываются и шатаются крепкие устои под его ногами.

Егор Трохин повертывается к столу.

— Мишка! Сколько Настасья мешков повезла на мельницу?

— Пять!

— Чего ж она там? Давно пора смолоть!—Егор Трохин сердито ворочается. Неожиданно вскипает гнев к снохе, но вскоре и остывает: „Скоро ли насыплешь, взвесишь, а потом и дорога плохая“,—находит он оправдание. И мысль снова перекакивает на другое.

Жена с сыном продолжают ужинать. Не обращая на него внимания, ведут обычный, повседневный разговор. За окошками стук телеги и знакомый окрик на лошадь.

Егор Трохин думает:

— „Столкуются ли спиринские тележники об'единиться в артель? Если столкнутся, то им, выползовским одиночкам, будет хуже—задавят. Надо что-нибудь придумать... Доставит ли сюда земотдел весной хороших племенных быков? Если доставит—надо сейчас же записаться... А братья Игохины, Комаров сживут. Придется прикрывать мельницу... Турбина, электричество... Как-то по-особенному стала итти жизнь“.

Егор Трохин недовольно крикнул, перевернулся на другой бок. При переходе мысли на Игохиных, опять горечь разлилась от сердца до горла. С болью почувствовалась трещина—почти нащупать ее можно.

Дверью хлопнула Настасья. Начала раздеваться.

— Ты что же там долго?—спросила свекровь.

— Да не готово было, пришлось дожидаться.

— Лясы с кем-нибудь точила? Волю начинаете чувствовать! Надо вас, как следует, приструнить!—проворчал на лжанке свекор.

— Ни с кем я лясы не точила! А не надеетесь, посылайте кого другого!—резко ответила Настасья, садясь за стол.

Егор Трохин приподнял голову, с изумлением посмотрел на сноху.

— Что ты сказала? Да ты кому это таким голосом говоришь? Смотри, баба, не забывайся!

— Нападать вы на меня стали. То не так, другое не этак. Никогда не потрафишь.

Свекровь дернула ее за рукав.

— Настасья, замолчи! Чего ты в задор лезешь, или греха хочешь?

— Сердце у меня наболело, маменька. Я ведь, небось, не крепостная, могу же слово-то сказать.

— Молчать!—рявкнул свекор, быстро спуская ноги с лжанки.—Кто у нас в доме большой—я или ты?

Егор прошел мимо стола, сел на лавку, уставил на сноху сверлящий взгляд. Все, бродившее в нем за последние дни, подкатило к глотке и душило, напряглись мускулы, казалось— вот он и есть тот враг, стоящий на пути его жизни.

— Батя, может быть, ты поужинаешь? — стараясь разрядить грозу, предложила мягко жена.

Егор не ответил, поднялся, тяжело ступил по половице и через плечо с приглушенным гневом обронил:

— Заелась! Зубы показываешь!..—Неожиданно повернулся, с хрипом выкрикнул:—Выбью дурь-то!

Настасья встала из-за стола и молча принялась одеваться.

— Ты что это надумала? Раздевайся!—Егор сдернул с головы платок и отшвырнул в сторону.

— А я не хочу! Никто мне не закажет! Мужа не послушаю, не только что свекра!

— Так вот ты как, потасс-ккуха!—он схватил ее за руку и с силой рванул, отбросив в передний угол, сам быстро снял со стены новый ременный супонь.—Я покажу тебе, паскуде, как разговаривать со свекром!

— Егор Степаныч, что ты делаешь? Побойся бога-то!—вмешалась жена.

Трохин наотмашь хлестнул ее ремнем.

— Не лезь, куда не просят!..

В этот момент Мишка, сидевший до сего времени молча, внезапно кинулся на отца с криком:

— Не смей бить!—вырвал у него ремень.

Егор от неожиданности опустил руки, не мог выговорить слова, стоял с изумленными глазами и раскрытым ртом. Потом лицо его налилось кровью, ноздри раздулись, глаза остеклянели. Он метнулся к сыну, сгреб его за волосы и поднял на воздух. Мать с воплем кинулась под ноги. Но Мишка быстро и ловко повернулся под отцовской пятерней и очутился на своде. От порога он угрожающе крикнул:

— В комсомол пожалуесь! Уйду от тебя!

Хлопнула дверь, хлопнула крылечная калитка, а Егор Трохин все еще стоял в каком-то оцепенении, никак не мог вместить в себя всего происшедшего. Жгли последние слова сына,—жгли и значением своим и неожиданностью. За ними была страшная, пугающая пустота. Чувствовал: душа раскололась надвое.

Пошатываясь и ощущая слабость, как после тяжелой и продолжительной болезни, пошел он к лежанке, забыв о снохе, о жене...

## VII.

Крупорушка у Игохиных была уже в ходу, достраивали маслобойку. У мельницы день и ночь стояли воза с помолом. Ехали из всех окрестных селений.

А на Комаровской мельнице было пусто. Лениво вертелся ветхий, подтертый жернов.

Комар обращался в волость, чтобы аренды сбавили, жаловался: большая семья, а работы нет.

Немного сбавили.

Он распустил слух, что братья Игохины обвешивают, что мука у них получается закаленная и даже с песком — хрустит на зубах. Семен под диктовку отца написал в уездный город донос, будто младший Игохин тайно делает какую-то машину—еще может село взорвать. По ночам часто сидит за какими-то чертежами,—кто их знает: вдруг да во вред правительству. Надо прислать обследовать.

На это письмо из города приехали двое людей, с волостными властями отправились к Игохиным на мельницу.

Комары радостно ухмылялись: „Не сдобровать им, обязательно прикроют“.

Но городские люди, осмотрев мельницу и чертежи, похвалили Игохина и дружелюбно попрощались.

Казалось, никаких сил не было у Комаров выжить ненавистных братьев или подорвать у них дело. Гаврило Комар ночи не спал, измышляя, как бы крепче и больше досадить недругам. И придумал.

С раннего утра Комарово семейство вышло на работу. Бабы и ребятишки подвозили навоз, землю и свежесрубленные прутья. Мужики забивали колья, закладывали сучьями, засыпали навозом и землей—укрепляли гать.

Федор Игохин, осматривая плотину, взглянул книзу по реке и удивился, покричал брата:

— Иди-ка, посмотри! Комары должно-быть за ум взялись, укрепляют!

— Пора,—отозвался тот.—Они нам должны спасибо сказать, что заставили в хозяйстве порядок навести.

На четвертые сутки вышел Василий Игохин ночью из своей избышки при мельнице и поразился: не слышалось знакомого

гудения турбины. Взглянул в низ плотины и сразу понял, в чем дело: вода стояла почти в уровень с заплотом. Комар подпер водой Игохинскую мельницу, остановил у них всю работу,

Братья долго не раздумывали, выход скоро нашли: спустили все люки, доверху заперли плотину, чтобы ни капли не ушло книзу.

Гаврило Комар с сыном поглядывали на бездействующую мельницу своих врагов и торжествующе посмеивались. Они ждали, что Игохины придут к ним и запросят мира. Тогда можно будет как-нибудь и столковаться. Они не догадывались, что братья уже придумали для них месть.

За день вода на мельнице Игохиных дошла до краев плотины и стала перекатываться через верх. Тогда они поздно ночью сразу открыли все люки. Вода мощною стеной устремилась вниз.

Не могла сдержатъ такого напора ветхая комаровская плотина. Затрещали люки, закачались столбы, тронулась гать. Дежуривший на мельнице сын прибежал ночью к отцу с диким воем:

— Тятенька! Плотину прорвало!

Гаврило кинулся на мельницу, взглянул и схватился за волосы, коровой заревел:

— Душегубцы! Проклятые! Последний крест с меня сняли! Что я теперь буду делать?—Он выл, метался по берегу, потрясал кулаками.

А вода с ревом сокрушала человеческие сооружения, ломала доски, выворачивала с самого основания столбы, разметывала кучи полусгнившего хвороста, пенилась, клокотала, словно выливала против Комара свою личную вековую злобу.

К утру все было тихо. Речушка текла мирно, безобидная, маловодная. Мельничное, позеленевшее колесо поднималось высоко над водой и было беспомощно, жалко. От гати виднелись только намеки. От плотины не осталось ни одного столба...

Братья Игохины опять заперли люки, и вода понемногу стала прикапливаться. В полдень робко и негромко загудела турбина, медленно завертелись жернова. Мужики помольщики, смотря в сторону мельницы Комара, соблезнующе говорили:

— Теперь, пиши пропало, не оправится мужик. Новую плотину построить—это не шутка.

— Сам виноват. Вперед—наука.

А Василий Игохин почти уже забыл об этом. Он занят был другим: исправлял купленную по дешевке динамо.

Вошел брат.

— В суд хотят подавать, — сказал он, махнув рукой к окну.

Василий поглощен был своим. Не ответил. Поковырявшись в просмоленной проволоке, он поднял голову и радостно поделился:

— Через месяц осветим. Вот мужики ахнут! Занятная штука! — Помолчал немного и добавил: — Когда покрепнем, надо будет подумать насчет лесопилки. Водяной силы много, а лесу—сто лет не переработает... Ну давай чай пить! — Он, довольный своей мыслью, улыбнулся и пошел к печке за самоваром.

— Лесопилку поставить это было бы куда хорошо, — согласился брат.

— Поставим. Не через год—через два. Только ты об этом пока—никому... Да, я забыл тебе сказать: я женюсь на Настасье. В воскресенье пойдем в совет, распишемся. Гулянки не будет...

В окно доносился шум мельницы. Турбина гудела с прежнею силой.

ПАВЕЛ НИЗОВОЙ.

---

# Партизанщина.

*Е. Бражнев.*

(Из книги «Сгучит рабочая кровь»).

## 1.

**Х**отели строевой работы? Вот вам строевая.—сказал товарищ С.—Оставайтесь на бригаде. Положение наше серьезно. Бригаде придется скоро выполнить ответственнойшую задачу. На моем лице не читалось большого удовлетворения. Поэтому командарм поспешил разукрасить свое предложение, позолотить пилюлю.

— Понятно, что вы могли бы принять и дивизию. Но ведь во всех четырех дивизиях начдивы на своем месте. А в седьмую дивизию, как вам известно, назначен Чикваная, вы сами подписывали его назначение. Но вы можете стать заместителем начдива. Как вы думаете?

Ну, конечно, я не мог позволить себе такого неприличия, как отказ от боевого назначения. Командарм отлично понимал это, и все его льстивые уговоры были простым лицемерием. В момент грозного кризиса на фронте никто не посмеет отказаться даже от роты, не то что от бригады. Таким образом я стал по настоящему комбригом два седьмой стрелковой украинской и заместителем начдива.

Чикваная чесал в затылке: положение было довольно пиковое, обстоятельства ниже среднего. Как вы это расцените: участок дивизии—от Токмака до Гришина, 150 верст. Состав—первая бригада тов. Бражнева (бывш. Покуса), состоящая из 1-го Украинского пехполка, любящего держать нейтралитет, 2-го Севастопольского полка, склонного к критике, и 3-го полка Козырева, который шатался где-то около Черного моря; вторая бригада тов. Махно, состоящая из неопределенного числа полков и других единиц различных наименований; наконец, третья бригада, которой надлежало начать формироваться.

Гуляй-польскую орду превратить в бригаду и включить в состав кадровой дивизии! Смелая идея. Однако начдив и его заместитель не были в восторге от этой идеи, осуществлять

которую им предстояло. Трудно было себе представить какими средствами принудить батько Махно хотя бы только принять номер бригады, не говоря о более существенных моментах намеченной реорганизации. Кроме того, нам было недосуг возиться с Махно: деникинские добровольцы нажимали самым серьезным образом на Екатеринославском и Донецком направлениях, а сил у нас на этом фланге, собственно говоря, никаких не замечалось. Поэтому мы временно оставили Махновью в покое и все свое внимание обратили на Гришинский участок.

Сюда двинулась часть моей бригады—1-й полк, интернациональный батальон донецких добровольцев и еще кое-что по мелочи: конные партизаны, сводная батарея разношерстных легких орудий и бронеплощадки.

В это время я торжественно отпраздновал встречу полка товарища Козырева, прибывшего ко мне в бригаду из-под Одессы, увенчанного победными лаврами и обремененного многочисленными боевыми трофеями: целый громадный состав, груженный всевозможным сырьем и фабрикатами, транспорт мулов, отнятых у греческой пехоты, пять танков, отбитых у французской инфантерии.

Сильная часть, 2.800 штыков, 40 пулеметов, 4 орудия, интендантство целой бригады. Командир полка—отважный партизан Козырев, хладнокровный и бешеный, невозмутимый как машина—в бою, хитрей чорта—в маневре. Чудный полк, такой как раз нужен был мне на Гришинский участок. Я решил дать ему два дня отдыха, и затем подтянуть к Гришину. А через два дня полк спешно выступил к югу на сто верст, под Волноваху, на участок Махно, в поддержку его левого крыла.

Махно сдал левым флангом. Его фланговые отряды, под лобовым ударом кубанской конницы и обойденные в то же время со стороны Караванной, не выдержали и стали валиться на свой центр, очищая территорию. Иными словами, фланг загнулся крючком, махновцы панически драли, уже не принимая боя. Катастрофа готова была распространиться по всему расположению Махно, страшная опасность стоверстного прорыва висела над армией.

Нам пришлось действовать с молниеносной быстротой, во весь дух мчаться подпирать похилившийся махновский плетень. Полк Козырева был одной из подпорок, и когда через короткое время плетень все-таки повалился, он увлек за собою и подпорки. В течение трех суток—день и ночь—Козырев свирепо отгрызался от налетавшего воронья. Он оказался в одиночестве, предоставленный собственным силам. Все, что было от него справа и слева, уходило, бежало, сыпалось пылью с позиций. Соседями Козырева были паника и повальное бегство,—скверные боевые товарищи, плохое обеспечение флангов.

И фланги Козырева были открыты, он уже был фактически обойден, его полк бился в кольце. Пулеметы белых резали со всех

опушек. Артиллерия садилась в залегший полк перекрестным огнем от Ново-Троицкого и от Игнатьевки. Черные массы конных нависали со всех сторон зловещей бахромой, непрерывно здесь и там порываясь к закопавшейся пехоте. Конные атаки сменялись ураганами огня. Огонь переходил в бурю конной атаки.

Полк лютым зверем лежал в своих балках, глаза на мушке, пальцы на спусковой собачке, лица, окаменевшие над прикладами, сердца, остановившиеся от бешенства, ужаса и непрерывного нечеловеческого напряжения. Опоясавшись молниями пулеметных очередей, с пушками в середине, принимая на картечь в упор конные волны наступающих, расстреливая последние патроны—вот как погиб полк Козырева.

Вслед затем загрохотало точанками по дорогам, спасая свои утробы, все махновское войско. На Темрюк, на Янисаль, на Керменчик загудели таборы махновцев, теряя обозы. И вдруг под самой станцией Гришино обнаружилась разведка кубанцев. Шутка была плохая: генералы шагали прямо на Екатеринослав.—Гришино—Чаплино—Синельниково, чистая дорога. Мы с Чикванаем сели на минутку подумать у себя, на Чаплиной, в тесном салоне штадива. Что мы имеем в Гришином? Получалось слабовато: китайский батальон, железнодорожная охрана, да какая-то неизвестная пехота в Сонцове или Кураховке. И—ни-какого начальства, ноль в отношении единства командования. Пока моя бригада подтянется, жарко станет под Гришиным. Поэтому выходило, как дважды два: мне самому брать, что было под рукой—нашу грозную кавалерию, 30 сабель—и на всех парах мчаться в Гришино.

Я в'ехал в Гришино с запада, китайцы ввалились в него с востока. Они добросовестно выпустили все до единого патроны и преспокойно снялись с позиции. Ведь делать им было нечего. Свою обязанность они выполнили, послали в небеса свои последние патрончики и теперь, натурально, приплелся на станцию варить обед. Позволительно было поинтересоваться, кто сменил их на позиции?—Кто их сменил? Они очень удивились. Их почти шокировал подобный вопрос. Разве они—забойщик в шахте, чтобы мечтать о какой-то смене? Они пришли пообедать и набить подсумки патронами—очень просто. А сменить их, понятно, никто не сменил—позиции они считают за собою.

Впрочем, железнодорожники не разделяли подобных тактических понятий. Это было видно хотя бы из того, что они примчались вслед за китайцами, с криком и руганью, протестуя против такой чрезмерной подвижности своих соратников. Они начали крупно разговаривать в железнодорожном телеграфе, где я расположил свою ставку. Образ действий китайцев казался этим крикунам чем-то похожим на дезертирство, раздавались такие словечки, которые затруднительно даже повторять.

Пришлось мне вставить и свое слово, познакомить китайцев с более организованным способом питания боеприпасами

боевой линии. Совершенно излишне всем с этой целью сниматься с позиции и скопом отправляться за патронами. А железнодорожникам я изложил свою мысль по поводу нахождения их на станции: их появление здесь казалось мне так же мало обоснованным. Ежели Китай в данном случае проявил свою восточную беззаботность, так не резон и железнодорожникам следовать азиатскому примеру. А затем я поторопился примирить стороны; необходимо было поскорее выяснить обстановку и разобратся в здешних делах.

## 2.

Мы держались великолепно целый день. Китайцы расположились вправо от железной дороги, рота охраны—влево. Редкие цепи лежали довольно беззаботно в дымящихся черных бороздах поля, экономно постреливали и терпеливо ждали, что будет дальше. Неприятельская армия не показывалась на горизонте.

Несколько раз наши порывались продвинуться к голубым холмам на востоке. Пулеметы противника весьма действительно охлаждали наш пыл. Потом мы заметили некоторое оживление за Ново-Троицкой, какие-то группы двигались по краю холмов и скрывались в узкой долине Соленой речки. Не начало ли это решительной атаки? Мы поспешно вызвали поближе людей, остававшихся в резерве на станции. Но прежде, чем резерв прибыл, послышалась отчаянная ружейная и пулеметная трескотня в стороне Ново-Троицкой, в то же время огонь противника по всей линии почти затих. Теперь явственно слышались залпы еще дальше, со стороны Рудничной ветки, и мы уловили два или три глухих удара, звуки, напоминающие миномет. В стороне противника происходила суэта, черные кучки уходили в леса на восток. И тут мы заметили далеко вправо, на отлогих склонах, широкую густую цепь, медленно спускавшуюся вслед за противником. Это были наши.

«Наши! Подмога! Тринадцатая армия!» Радостный рев прокатился по всей нашей линии. Воинственный пыл закипел в наших сердцах. Жажда схватиться с врагами, раздавить бандитов, растоптать белых охватила отряд. Тела сами подымались с земли, ноги сами понесли вперед. Не ожидая команды, бойцы дружно пошли в наступление. Белые быстро уходили, и мы—заними по пятам, таща за собой пулеметы прямо по вспаханной земле. Верстах в восьми от Гришина, на рубеже мизерной реченки, недалеко от ст. Желанной, мы, наконец, опомнились и решили тут укрепиться.

Костры задымили вдоль позиций. Со станции подали платформы с кухнями, провиантом и патронными повозками. С агитпункта принесли книжечки и газеты,—распечатай мозги, братишки, поразмысли над умным словом.

Начдив Чикваная по проводу сообщил нечто утешительное: ко мне вышел эшелон Черноморского стрелкового полка—600штыков и пропала пулеметов. Что касается отправления моей бригады и бронепоезда,—таковая затормозилась какими-то непредвиденными препятствиями. Что-ж, и за то спасибо! Черноморцев знаю—отъявленные головорезы, сорви-голова. Ладно. Я потираю руки: теперь у меня собирается немалая сила. Поговорим, товарищ Шкуро.

Между делом мы благодушествовали, отдыхали и готовились плотно поужинать и вздремнуть до следующего кровопускания. Победа—наша, противник задал стрекача, кухни так аппетитно бурлят, вечерний холодок так приятно обвеивает наши разгоряченные головы. Можно ли ожидать какой напасти при таких обстоятельствах? Когда примчался конный из заставы и сообщил о том, что белые валят «большой массой», тысяч двадцать,—мы несколько секунд смотрели друг на друга, разинув рты.

Котлы в сторону, суп к чорту, книжечки за пазуху, бойцы рысью на свои места. Дьявольски скверная вещь внезапность. Наша сторожовка, видимо, ловила ворон вместо того, чтобы заниматься прямым делом охранения. Она подпустила противника совершенно близко, белые накапливались втихомолку, где-нибудь в ближайших балочках, пока наши заставы зевали на небеса и предавались мечтам и отдохновению. Мы едва могли заметить, что наше охранение с необыкновенной быстротой приближается к нам. Не успели моргнуть, как уже белые—вот они!—посыпали в нас чуть ли не в упор из всевозможных смертоубийственных приспособлений. Пули брызнули градом, ливнем свистали в воздухе. Мне показалось, что вражеские ружья, автоматы, пулеметы грохотали над самой головой.

Менк очень беспокоил китайский вопрос: участок китайцев был растянут и имел отвратительный обстрел, к нему так легко было подойти почти вплотную. Я знал, как несовершенно поставлено у китайцев наблюдение за огнем полем: никакого наблюдения, собственно говоря, не было и в помине. Поэтому я поспешил, насколько позволяла вязкая почва, на китайский участок.

Стало смеркаться, и вот в этот-то момент китайцы спасовали. Ко мне приковылял посланный от ихнего командира, облепленный глиной, выпучив глаза, облизывая почерневшие губы,—стал лопотать о том, что у них «шибка худа, ой худа, товарищ капитана», что они совсем разбиты и что у них «мало мало стрелай—некому». Они требовали немедленно подкрепления. Я заподозрил в его рассказных обычных преувеличения, восточную дипломатию, направленную к тому, чтобы выманить у меня людей. Но в это время ко мне в балку спустился помощник батальонного командира,—с первых же его слов я понял, что дело китайцев было швах.

Белые таки подобрались к ним вплотную, обложили с трех сторон на расстоянии прямого огня и расстреливали вдоль и по-

перек. А самое главное—китайцы расходовали последние патроны, подымались и уходили. Им требовалось подкрепление, несомненно. Где я мог бы взять им подкрепление? Никаких ресурсов. Ни одной души в резерве. Ни одного патрона в наших повозках: все уже были розданы в части. Я попросил приبلудный батальон, который давно уже влился в цепь и стоял в центре, раздвинуться и принять вправо, занять половину китайского участка. Батальон заворчал и не шевельнул ни одним человеком: он был всецело поглощен тем, что клубилось перед его глазами, не мог оторваться, это был какой-то гипноз, присущий критическому моменту боя.

Мы начали падать духом,—вот что было очевидно. Тревога овладевала отрядом, все уже знали о кризисе на китайской стороне и беспокойно поворачивали туда головы, прислушиваясь к тому, что там происходит. А происходило там что-то не совсем хорошее. От китайцев осталось одно мокрое место. Они последовательно выдержали свою тактику. Они до конца выявили свои боевые качества. Удивительная тактика, от которой веяло тысячелетней давностью. Удивительные солдаты, сражающиеся, как автоматы, чуждые всякой коллективности, абсолютно не подверженные стадной панике. Они не умели лежать в цепи: под самым жестоким обстрелом усаживались на землю, поджав ноги колючком, шапку между ног, патроны—в шапку, и методично палили с руки прямо перед собой. Израсходовав все обоймы, нахлобучивали шапку, подымались и уходили. Впрочем, они даже и не уходили: через два, три, пять шагов валились лицом в землю, поражаемые белогвардейским свинцом. Таким образом растаял китайский батальон, точно ком снега под солнцем.

Когда я, сгибаясь в открытых местах, перебегая от бугра к бугру, таща в поводу лошадь, вскочил в расположение китайского батальона, там было уже все кончено. В сумраке вечера я видел несколько одиноких фигур, которые уходили беспорядочно в разные стороны. Я остановился, спешив, беспомощно созерцая эту картину. В этот момент точно из-под земли выросла фигура, которая оказалась военкомом батальона. Он тащился с трудом, хромя, опираясь на винтовку и тоже ведя в поводу коня, прикрывшись им от неприятельских пуль. На голове военкома белела повязка. Я обрадовался этому парню, как родному брату, и свирепо набросился на него. В чем тут дело? Где ваши люди? Где противник?

Военком даже не остановился, продолжал хромать вперед, как манекен, и как-то сонно забормотал себе в бороду. Какие люди? Никаких людей нет. Ничего нет, не о чем разговаривать. А противник здесь, за этим гребнем. Он махнул рукой на гребень в ста сажнях сзади, по которому недавно располагалась стрелковая позиция китайцев. Не успел я выслушать эту информацию, как тотчас последовало и вещественное подтверждение: с гребня вдруг затрещал пулемет, а затем весь он унизался вспыш-

ками беглого огня. Земля зашуршала вокруг, меня точно ветром качнуло, инстинктивно я скорчился в три погибели. Ошеломленный, оглянулся машинально на военкома, но этот внезапно исчез. Так и не мог понять, куда он канул вдруг вместе со своим конем.

Я затопал по грязи, что было сил, прочь от этого места. Лошадь упиралась, не шла, задерживала меня, и я сообразил, что это белоброе пятно в темноте как раз и привлекает на меня весь огонь с гребня. Поэтому я предоставил животное его горькой участи, мне нужно было попытаться спасти хотя бы собственную шкуру.

И вдруг, совсем близко надо мной, ударило орудие, тяжелая пушка, гаубица, судя по звуку. Через секунду где-то вдаль за гребнем отдался разрыв. Вслед затем грянула вторая пушка, а разрыв обозначился много ближе, почти над гребнем. И огонь с гребня тотчас прекратился. Стреляют! Пушка! Наша пушка!

Я моментально воспрянул духом, ожил на три четверти и опрорхнул бросился к железной дороге. Знал, что это прибыл наш бронепоезд. Это и был броневик, присланный мне Чикванаем. Но поддержка прибыла немножко поздно: поддерживать было некого. Жалкие, растерзанные остатки нашего отряда кое-как плелись кучками на станцию, апатично выпуская на-ходу последние патроны.

### 3.

Утром на вокзальной платформе сосредоточилось все; что уцелело от вчерашней катастрофы—железнодорожники, люди из кураховского батальона, в небольшом числе китайцы. Тут образовался наш резерв. Конные разведчики, разлетевшиеся во время боя, за ночь опять собрались ко мне в количестве человек двадцати. Сведений о противнике не имелось: пешая разведка не могла проникнуть далеко, и соприкосновение с противником было утеряно.

Черноморцы вышли в поле, как на ученье, невозмутимые; в походных колоннах, командиры—впереди, цыгарки—в зубах, ружья—на ремне за плечами. Эти покажут белой банде, где раки зимуют. Шкуро? Кубанцы? Пара пустяков! Черноморский полк крошил петлюровские галушки под Казатином, месил румынскую квашню на Днестре, квасил в Черном море французскую капусту. Где тут деникинский филей? Подавай нам на котлеты!

Через час ружейная пальба перебрасывалась с одного края поля до другого. Белые подошли на расстоянии двух верст; отогнав нашу разведку. Пешие разведчики уходили с такой скоростью, на какую были способны, а противник торчал у них на самом затылке. Два батальона черноморцев, не торопясь, развертывали боевой порядок, третий прилег в балке на уступе за правобанговым, сборный резервный отряд передвинулся с вокзала на окраину поселка.

Черноморцы и не думали зарываться в землю. Прятать нос от белой сволочи? Отнюдь. Не такие люди черноморцы, чтобы тянуть канитель. Раз, два— и в дамки! Они самоуверенно двинулись вперед, не кланяясь, с ружьями под мышкой, весело сквернословя, обстреливая противника крепкими эпитетами. На эту белую дрянь ничего другого и не требуется. Станут они тратить на них боевые патроны. Матом и—в штыки!—весь разговор. Они так и попытались проделать; без выстрела, с бранью двинулись во весь рост на гряде холмов перед собою. Не тут-то было. Противник подпустил нас еще на полверсты, а затем сразу по всему фронту зашамкали рты пулеметов, точно хорошей плетью стегнули по наступающим. И ребята в один миг оценили удобство лежащего положения. Залегли, ничего не попишешь. Нацелили ружья, выставили пулеметы, завели огневую музыку.

Перед нами тянулась ровная гряда возвышенностей, вчерашние наши позиции, там теперь гнездились белые. Слева шел широкий овраг, он был под нашим обстрелом. Справа долина Соленой речки внушала мне опасения—прекрасное место для охвата нас справа. На всякий случай сюда уклонился второлинейный батальон уступом. Броневики вышли за семафор и слал снаряды веером слева направо по всему пространству обстрела.

В течение дня бесчисленное число раз подымались черноморцы для атаки, проходили скрыто пятьсот шагов—и немедленно отлетали обратно в исходное положение. Там был какой-то роковой рубеж, стена огня, о которую разбивалось наше наступление.

Бойцы дрожали от бешеного нетерпения, выли с досады и ярости, проклинали себя и весь свет, упершись в этот ураганный заградительный огонь. А вечером противник стал проявлять активность, его огонь достигал все дальше, он видимо переносил на нас огневой барьер, и наконец-то загудели его пушки. У белых появилась артиллерия! Это была несомненная штурмовая подготовка. Мы должны были готовиться отбивать атаку. Каких вражеских сил?

Начинало темнеть, наблюдение затруднялось, огонь же противника становился с каждой минутой интенсивней. Бойцам стало казаться, что они замечают какое-то подозрительное движение там, за холмами, где белые копили силы для удара. Мы на бронепоезде стали все чаще принимать просьбы то одного, то другого командира дать огонь на его участок, каждому стало казаться, что против него сосредоточились все силы неприятеля.

Я лихорадочно ждал известий о прибытии I-го полка бригады. Сто раз гонял на телеграф за справками, слал Чикваню телеграмму за телеграммой. Мне была необходима еще какая-нибудь часть, абсолютно необходима—вопрос жизни и смерти. Хотя бы пару батальонов—несколько сот стрелков, которым спуститься к Соленой речке, сбить, что там находится, и выйти на фланг противника. Только таким путем разрешалась задача. Без свежей части мы были прикованы к месту. Кучка людей, на-

ходившаяся в резерве на станции, в сущности, была сбродом. Третий батальон черноморцев—200 штыков—являлся последним резервом и лишиться его было немислимо.

Мы несли все больше потерь, несмотря на густеющие сумерки. Артиллерия противника стреляла дьявольски чисто, их проклятые наблюдатели не зевали. Фонтаны разрывов то и дело взметались среди наших стрелков. Состояние бойцов становилось все напряженней, тревога растекалась по позициям, тревога и недовольство. Они устали, как собаки, дьявол нас задави! Промокли насквозь, как тряпки, будь мы прокляты! Кости ноют — елозили весь день пузом пожидкой грязи. Глаза слипаются—не спали круглые сутки. Терпенья нет стоять истуканами под огнем. Жрать хотим! Промокли! Устали! Это что за баранье дело: тебе сыпят железом в хвост и в гриву, а ты знай себе лежи, как чурбан, под огнем. Это что за команда! Это какое начальство, чтоб ему подавиться! Так и простоим, пока белая гвардия не окружит. Окружат, как пить дать. Обходят, ребята: кубанцы уже на Соленой речке! Казаки! Кавалерия в тылу! Белые на станции, отрезали!

Командир полка прибежал ко мне на бронепоезд за советом. Дело принимало оборот некрасивый. Нужно было на что-нибудь решиться. На что решиться в такой обстановке? Отходить—нельзя. Противник плотно к нам привязался, его обычная тактика; весь день изматывать, к вечеру назойливо пристать всеми силами, в сумерках навалиться со всех сторон. Он уже связал нас по рукам и ногам, остается последний пункт белогвардейской программы. Очевидно, нам нужно было его предупредить. Вот по каким причинам Черноморский полк в этот вечер под ст. Гришино перешел в решительное наступление и сложил здесь свои кости.

Черноморцы пошли правым флангом: третий батальон двинулся в обход по долине Соленой речки. Этот маневр был для белых, надо думать, вполне неожиданным. Наша пехота прошла глубоко на восток, не встретив сопротивления, повернула правым плечом, перешла железную дорогу, рассеяла здесь неприятельскую конницу, стоявшую спешенно в хуторе, а затем вскарабкалась на холмы, господствовавшие над левым флангом противника. Здесь наши укрепились и отсюда застегали белых фланговым огнем своих пулеметов. Все это сообщил мне конный, прискакавший оттуда.

Но еще прежде, чем это донесение получилось, главные силы полка подняли бешеную стрельбу, в то же время броневик выкатился вперед и косым огнем из орудий достал за холм, используя последние минуты некоторой видимости. Неприятельская артиллерия вдруг умолкла, что нас очень воодушевило: мы приписали это действию нашего огня и решили, что момент атаки наступил. Батальоны были подняты и дружно двинулись, броневик без передышки громил белых, наша операция складывалась весьма

стройно, мы уже могли тешить себя надеждой на успех. А затем все спуталось в невероятный клубок.

Левобланговый 1-ый батальон вдруг заметил несколько всадников, проскочивших по опушке рощи к нему в тыл. Это могла быть просто разведка. Крайним стрелкам почудилась целая колонна конницы за их спиной и они подняли тревогу. Батальон смутился, вдруг услышав выстрелы на фланге, произошло замешательство. И командир остановил батальон! Он осадил свою цепь и повернул лицом к той стороне, откуда угрожала опасность. Таким образом произошел в темноте разрыв фронта полка, батальоны расползлись, а через полчаса в этом интервале уже носились какие-то черти в косматых шапках и бурках. Конница противника моментально разнюхала дыру у нас на стыке и бросилась в нее, очертя голову, в конном строю.

Теперь 1-ый батальон увидел себя совсем окруженным. Белые справа и слева! Окружены, отрезаны! Все пропало! Батальон стал отступать, отстреливаясь, во все стороны. Прорыв все расширялся, кубанская кавалерия устремилась в него, как вода сквозь прорванную плотину. Черноморский полк оказался разрезанным на три части. Со стороны 2-го батальона слышалась сумасшедшая стрельба. Что там происходило? Мы не могли выяснить. Вокруг нас крутился вихрь, хаос, мы были изолированы от наших частей. Вокруг бронепоезда спереди и сзади около полотна уже шмыгали темные группы всадников. Связь со всеми остальными была прервана. И мы были совершенно бессильны помочь стрелкам: в полном мраке броневик был так же беспомощен, как платформа из-под угля. Броневнику угрожала большая опасность быть окруженным в темноте, и он стал отходить. Около станции мы наткнулись на 1-й батальон, который прислонился к полотну и бешено отстреливался в темноту. Броневик тотчас же открыл огонь из всех орудий и пулеметов наугад через головы стрелков.

1-й батальон припелся к станции с половиной людей, но в относительном порядке. Командир полка, окруженный со 2-м батальоном, пробился и вышел из боя с небольшим числом людей батальона, потеряв все пулеметы, боеприпасы и 70% бойцов. 3-й батальон, охваченный со всех сторон за Соленой речкой, выдерживал целую ночь неистовую канонаду белых, а на рассвете конная масса ворвалась в середину батальона, прошла по нем железной бороной. Батальон весь остался там, на глинистых буграх, над Соленой речкой.

Мы решили покинуть Гришино и перейти на ст. Демурчино. То, что осталось у нас от Черноморского полка, не представляло никакой боевой ценности. А противник уже перенес огонь на станцию Гришино. Хотя все освещение на станции было погашено, снаряды все же ложились среди построек и на путях. Очевидно, нужно было ждать в ближайшие моменты атаки на самый вокзал. Защищать станцию нам было не по силам. И вот поздней ночью,

в глубокой тьме, мы выступили из Гришина по проселку длинной беспорядочной колонной. Множество раненых, имущество и часть бойцов, для которых нашлось место, двигались в нескольких эшалонах впереди. Бронепоезд прикрывал отступление.

## 4.

Прямой провод работал, битва мнений кипела в пространстве. На одном конце—я в Демурчино. На другом—Чикваная в Синельникове. Мы сражались на стратегическом поле.

— Так бороться немыслимо. Нам нужно сделать антракт. Требую передышку. Нуждаюсь в резерве времени, чтобы привести в порядок людские резервы. Предлагаю отойти в Синельниково без боя.

— Невозможно,—отвечал Чикваная.—Командарм приказал во что бы то ни стало, какими угодно средствами вернуть Гришино. Напрягите все силы.

— Разрешите доложить: напрягать силы некому. Налицо я, штаб и залежь кислой шерсти, набившаяся в теплушках.

— У вас наберется триста штыков. К вам прибудет Екатеринославский коммунистический батальон, Тринадцатый стрелковый партизанский полк и Крымский конный эскадрон. Батарея уже выступила. Вам дается ответственная задача: прирасти к рубежу Гришино—Сонцевка.

Прирасти к рубежу! Прирасти своими костями к земле мы, конечно, можем. Многие уже приросли на пространстве между Сонцовкой и Гришиным. Но если мы так прирастем здесь, то и вы так же прирастете там, в Синельникове, Екатеринославе и далее.

Батальон екатеринославских коммунистов прибыл и высадился в 11 часов. Когда поезд зашипел вестингаузом у перрона, я увидел Чикваная, спрыгивающего с паровоза. Он приехал, чтобы окунуться в эту головокружительную игру, именуемую боем.

Екатеринославские коммунары двинулись. Зеленая молодежь со школьной скамьи, фабричные рабочие, тощие, с пепельными лицами, мастеровые, ремесленники и совслужащие. Их было человек 600 и вероятно ни один не знал полевого устава. Кроме них в моем распоряжении имелось 250 штыков,—черноморцев, железнодорожников, китайцев, людей из кураховского батальона,—остатки былого величия, сведенные в три роты. Коммунары шли в первой линии, сводные роты вытянулись колонной за ними.

Мы успешно продвинулись на расстояние четырех-пяти верст от ст. Гришино. Надо полагать, этому успеху способствовал тот факт, что до означенного пункта не встретился ни один белый. Екатеринославцы шли, как полагается, цепью, с решительными лицами, сжимая оружие, готовые на борьбу и смерть. И вот

заставы донесли им, что масса каких-то черных точек ползет им навстречу по ровному полю, а другая масса таких же точек высыпает на волнистой линии горизонта слева от них. Екатеринославцы остановились в недоумении: что в таких случаях полагается делать? А пока они размышляли, весь горизонт вдруг зарокотал и загудел, какие-то вихри понеслись с визгом над их головами, какие-то черные воронки выросли среди них там и здесь, какие-то тучи песку и камней обдали тех, кто остался в живых. Стреляют! Кто стреляет? Где враг? Врага не было, был непонятный хаос и смерть.

— Ложись!—хрипели одни.

— Отступать! за прикрытия! В балку!—вопили другие.

Отряд в беспорядке бросился назад, усеивая поле телами. Резервная колонна, не понимая в чем дело, не замедлила последовать его примеру. Броневики в полуверсте сзади ожесточенно палили через их головы по неприятельским цепям и артиллерии, последняя очень скоро замолчала. Батальон сумел взять себя в руки и остановиться, уйдя верст на пять из-под обстрела. Здесь залегли, а к нам полетело донесение:—противника видимо-невидимо, требуем подкрепления.

Чикваная поехал сам накрутить дух отряда в активную сторону. А в это время в Демурчино пожаловал сам командующий фронтом. Товарищ В. с места в карьер разнес нас в пух и прах. Не умеем использовать людскую массу. Не создаем спайки между бойцами и командирами. Нужно спать во едино, сколотить в одно целое—вот в чем залог успеха. Спаянная часть действует, как машина. Никакой обход, никакая кавалерия не страшны, если часть умеет работать механически и вся пронизана единством духа и воли. А у вас что? Какие это части? Что вы за командиры? Кисель какой-то, а не войско. Вот он оставит нам своего парня, который станет во главе батальона и покажет, как нужно управлять войсками в бою.

Учинив над нами такую расправу, комфронт отбыл своей дорогой. А у нас остался т. Козловский, малый скромный и выдержанный, который должен был научить нас искусству побед. Я бы не сказал, что подобная задача возбуждала в этом товарище большой восторг. Вероятно, тов. Козловский видел обстановку в более реальном освещении и понимал, навстречу какой судьбе он идет. Я так думаю. Но и в лице Чикваная я уловил проблеск сочувствия, когда мы напутствовали Козловского в поход.

Екатеринославцы на этот раз дошли до самого Гришина. И здесь, на окраинах поселка, среди огородов и покрытых колючим кустарником пустырей, разыгралась трагедия. Рабочие умели только держать ружья в руках. Их командиры знали только одно—как рассыпаться в цепь. Тов. Козловский с величайшим напряжением воли держал некоторое время в своих руках управление отдельными ротами. Частый огонь, никогда ими неиспытанный, сек и неумолимо прибывал к земле. Однако они

мужественно отвечали, двигались вперед, переползали, смотря в глаза ревушей смерти. Они должны были отчетливо чувствовать свою беспомощность и неумелость. Вероятно, каждый из них сознавал, что перед ним—неизбежная гибель.

И в то время, когда все их внимание было устремлено вперед, в ту сторону, откуда несся на них смертоносный вихрь—сбоку вдруг загредело и затрещало, посыпался град пуль, какая-то черная масса точно из-под земли выскочила перед их носом. Левое крыло отряда шарахнулось в сторону, забывая все наставления инструкторов. Среди всеобщей сумятицы Козловский попытался быстро перестроить левофланговую роту фронтом влево, но вместо перестроения получилась каша: рота сбилась в толпу, противник насквозь простреливал беспомощное скопление людей. И вслед затем ломанная линия конницы выросла сзади и с боков отряда. Козловский один выскочил из этого крошечного пекла. Как он спасся от гибели? Кажется, он один в отряде имел коня, который и вынес его из смертного кольца.

В сумерках, когда на ст. Демурчино не осталось уже ни одного красноармейца, отошел и броневик. А предварительно были сняты все телеграфные аппараты, взорваны все стрелки, испорчена водокачка—ряд мероприятий, которые мы не забывали выполнить всюду, откуда уходили.

## 5.

Вот когда пришлось нам вспомнить про Махно—когда махновский фронт треснул, как зеленый грецкий орех на белых зубах. Бригада Махно сдала позиции, открыла фронт, срочно отправилась к своему домашнему очагу, к жинкам и вареникам. Махно послужил пробой пера добровольческого штаба, первой мишенью реорганизованной атаманской контр-революции. Новая деникинская армия, поставленная на регулярную ногу, пропущенная через машину подготовки и насыщенная техникой, здесь, на бесшабашной партизанщине, испробовала свое оружие. Перед махновской братией вдруг оказался враг, с которым она еще не встречалась по-настоящему, в большом деле,—сила регулярная и подпертая крепким тылом. Это было чертовски непохоже на прежнюю контр-революционную импровизацию, на петлюровское опереточное войско или на очумевших баварцев, бегущих без оглядки домой. Здесь перед махновцами появился игрок искусный и рискованный, и игра вышла настоящая, по серьезному. Не успели протереть глаз, как уже оказались отрезанными, стесненными на неудобных позициях, разорванными на части, ошеломленными невиданным огнем, подавленными превосходством сил. И весь махновский фронт повалился назад, хлынул в беспорядке на восток, рассыпался вдребезги. Белые уже были за Волновахой, под Янисалем и Темрюком, двигались на Пологи,

угрожали Мелитополю. Подступы к Гуляй-Полю защищал один Михайловский партизанский полк Филимонова.

Нужно было поддержать Махно, дать ему возможность остановиться где-нибудь у Днепра и собрать свою распыленную бригаду. Гуляй-Полю необходимо была подмога, это отчетливо понимал штаб дивизии в Чаплино. И мы удивлялись, до чего быстро рушилась мощь батьки Махно, какой пылью развеялось все его великолепие. Забудь свои химеры, анархист! Конец твоей гнусной затее, этому идиотскому с'езду фронтовых анархо-бандитов! Думай о том, куда унести свои ноги!

Наш военный совет длился две минуты—все было ясно. Чикваная будет удерживать Чаплино с московским отрядом ВЦИК'а и I-м полком бригады. Я с Тринадцатым полком двинусь на Янисаль, подчиню себе Филимонова и попробую отстоять Гуляй-Поле. Махно еще оставался там со своим штабом, хотя перед ним уже все было чисто в поле, никаких сил, гладкая дорога для противника. Необходимо было повидаться с Махно, получить ориентировку, условиться о дальнейшем.

Тринадцатый полк с рассветом выступил на Керменчик походным порядком со всеми своими стадами, обозами и пулеметами. В тот же час я выехал в Гуляй-Поле на паровозе, сзади болталась открытая платформа с погруженным на нее «каделяком». В Гуляй-Поле машина сгружалась и должна была домчать меня в Керменчик.

В Махновской резиденции было пусто, собственно говоря—никого и ничего. Штабной эшелон сиротливо жался к вокзалу. По платформе бродило сотни две бандитов из конвоя батьки. Эти типы с зверским удивлением уставились на мою команду. Невиданное зрелище—красноармейская звезда в Гуляй-Поле! Махновцы с рычанием нас обступили, они требовали, чтобы мы немедленно сняли с шапок значки. Я, понятно, отверг их домогательства, пытался внушить им абсолютную несвоевременность их хулиганских замашек. Этакие нахалы: ты приехал предложить им в качестве прикрытия свою собственную грудь, и они же куражатся перед тобой. Вот где подлинная махновия, как в капле воды.

Впрочем, Махно появился, тотчас укротил свой кагал и пригласил меня в штаб. И я должен был с прискорбием признать, что мой визит к батьке был совершенно бесплодным, напрасная трата времени. Ничего полезного Махно дать нам не мог, он сам ровным счетом ни шиша не знал: где противник, каков он, что делает? Сатана в преисподней знает про все это, у него ориентируйся.—Где доблестные части комбрига Махно? Ищи ветра в поле!—Каковы дальнейшие намерения товарища комбрига?—Удирать.

Мне хотелось, чтобы Махно почувствовал общность нашего дела, расшевелить в нем струну товарищеской солидарности. Общий враг, одна задача, единая судьба. Я развернул карту

и стал показывать комбригу нашу дислокацию, обстановку и предположения.

Махно небрежно, в пол-оборота, клюнул мою карту длинным острым носом. Прямые, как у псаломщика, волосы упали на лоб. Щуплая семинарская фигура выражала полное неглиже, презрительное равнодушие к нашим затруднениям. У меня вдруг дьявольски зачесалась рука вытащить маузер и пустить пулю в его склоненный затылок. Проклятый ублюдок... пономарь с волчьей душой. Что можно ждать от этой мутной фигуры? Какая нам от него польза? Как от козла молока.

Больше ничего не оставалось, как сесть в машину с двумя ординарцами и дать полный ход на Керменчик навстречу темной неизвестности.

Командир полка, товарищ Камалюк, неторопливо докладывал: разведка послана в сторону Волновахи, Грунау, Петропавловки, Полог. Связь с Филимоновым есть—Филимонов со своим полком в Федоровке, что к юго-востоку от Гуляй-Поля. Белые, по слухам, шевелятся возле Волновахи и в Малом Янисале. В Темрюке наши партизаны.

Так. Свобода действий имеется, руки развязаны, времени достаточно. Штаб в поповском доме уже развернулся, мы с Камалюком прилипли к карте. Малый Янисаль оставим в покое. Пусть партизаны из Темрюка демонстрируют, отвлекут внимание Янисалья. А мы займемся Волновахой. Для нас важно изолировать волноваховскую группу с севера, отрезать от Доли, оттеснить на Чардаклы. Махно поклялся через три дня дать под Чардаклы две тысячи бойцов.

Наш план примерно таков: Тринадцатый завтра к вечеру выходит на линию Благодатное—Петровское. Филимонов из Федоровки переходит в то же время в Ново-Петровку и занимает уступное положение назад, вроде как бы вторая линия и обеспечение правого крыла наших главных сил. А ежели подойдет к тому времени и конный дивизион из Письменной, обещанный Чикванаем, ему действовать в направлении на Павловское—Благодатное—Еленовка на железной дороге. Конницу—к железной колее! К рельсам, к стрелкам, к мостикам! динамит под шпалы, и—к чорту. Перешибить во что бы то ни стало эту пуповину,—оторвать от главного ядра эту свору, которая тявкает на нас из Волновахи.

Я заночевал у хохла, толстого и усатого, как Тарас Бульба. Лукавый смехок тлел в его прищуренном глазу. А язык источал медовую любезность. Хозяйская жинка, опускающая ресницы на смуглые щеки, вежливо и сухенько извинялась, что не может ничем угостить, кроме чая и хлеба, да и то без сахара. В хате никого больше не замечалось. Я почти с уверенностью подумал, что из этого елейного дома не одна пара чобот отмаршировала на запад—в Гуляй-Поле, или на восток—в добровольцы.

Здесь маловато казалось молодежи во всех домах так же, как и по всей прочей Екатеринославщине, и за Днестром и по всей Украине. Молодежь куда-то сгинула. Думаю, что одну ее половину нужно было искать в арматурных ведомостях Красной армии, а другую—в полковых и куренных списках всевозможных зеленых и белых батек. Добре, хлопцы! Треба сюда Губчеку и Мобилизационный отдел. Надо всех вас на крючок учета, на хорошего живца регистрации, на длинный советский кукан.

Утром прибыла кавалерия. Дивизион появился раньше, чем ожидали. Ночью в Керменчик прибежали конные квартирьеры. А поутру от села пахло за версту кавалерийским духом: у всех крылечек—коновязи, охапки сена, мешки ячменя поплыли во все дворы; звоном шпор заливались улицы.

Кавалерия—лихая, на поджарых конях, с худощавым, хладнокровным и дерзким командиром во главе.

Можно было бы, собственно говоря, выступить, согласно принятой нами диспозиции. Ждали только ответа от Филимонова, что приказ наш получен и принят к исполнению. Раз'езд с приказом ускакал еще в полдень накануне. Ночь миновала, проходила половина дня,—ответа не было. Ни ответа, ни привета. Михайловский полк молчал, точно ему язык пришили к глотке. Тринадцатый полк терял терпение. У конницы зудели копыта.

И вдруг ответ получился—с базара, с улиц, из обывательских домов, из уст злорадных кумушек! Вся окрестность сказала нам ответ, замычала нам в уши, заорала благим матом. Ответ гласил, что Михайловский полк Филимонова силой в 600 штыков этой ночью окружен белыми и изрублен в капусту.

Случилось вот что: узнав о нашем прибытии, получив наш план кампании и боевой приказ, Михайловский полк решил действовать. Не откладывая в долгий ящик, он двинулся. Куда? Полк получил приказ выступить на другой день утром и перейти в Ново-Петровку. Можете не сомневаться, что он выступил на 16 часов раньше и в совершенно противоположном направлении, на Малый Янисаль. Он шагнул на 40 верст в сторону, на восток, в середину расположения белых,—вылез, как именинник, на самое видное место. Поздно вечером прибыл—понятно, без всякого походного охранения,—в Малый Янисаль и тотчас же безмятежно расположился спать. А среди ночи внезапно пробудился от сна—в последний раз в своей жизни. Больше этим ребятам уже не нужно было ни засыпать, ни просыпаться.

Казус, который случается на фронтах гражданской войны: Михайловский полк прибыл и разместился, как у себя дома, на одной окраине громадного села. А на другой окраине еще раньше расположилась деникинская кавалерия. Наши люди устали и тотчас по прибытии свалились спать, кто где попало. Кроме того, они не признавали таких старорежимных предрассудков, как охранение и тому подобное. Поэтому, когда белые захотели пощупать такого странного противника, который подхо-

дит к вам вплотную и ложится спать, то им не пришлось ломать над этим головы.

Глубокой ночью конные банды, не спеша, осторожно, в полном молчании окружили наш сонный лагерь. Во мраке вдруг раздался ужасный треск ружей и пулеметов, громовой топот копыт, дикие завывания. Легион бешеных фурий ворвался в улицы, во дворы и хаты. Партизаны, ошеломленные, ничего не видя и плохо соображая, спросонья хватались за оружие и падали друг на друга с разрубленными черепами.

Обычно после подобного нечаянного разгрома по дорогам и без дорог тянутся остатки разбитой части, растерзанные фигуры плетутся в тыл, появляются на передовых позициях, пристают к другим отрядам. После резни в Малом Янисале никто не показывался в нашем поле зрения. Ни в тот день ни в следующий к нам не явился ни один из полка Филимонова. Ни одной души, никого! Ни малейшего слуха—точно этого полка и не существовало никогда на свете.

Михайловский полк выбрал уютный уголок для ночлега. Весь, до одного человека, остался на месте, заночевал там навеки.

Весь наш план полетел к чертям: во-первых, мы лишились доброй трети своих сил, во вторых—обнаружились в Малом Янисале не какие-то там разведочные бандочки, как мы полагали, а противник вполне серьезный. Впрочем, противник вылез не только здесь, он начал обнаруживаться в одном месте за другим. Из Доли какая-то банда двинулась на Большую Михайловку, т. е. угрожала отрезать нас от Чаплина;—эти сведения принесла разведка и подтвердил гришинский мельник, приехавший по своим делам из Гришина в Керменчик по тракту, он видел пыль и блеск по дороге от Доли и был остановлен несколькими казачками в погонах.

В то же время множество неприятельских раз'ездов закопшилось со стороны Волновахи, среди реченок и оврагов, пересекавших эту местность. Наша разведка под их натиском отлетела почти к самому Керменчику.

Со стороны Малого Янисала нам обещались большие неприятности, это было несомненно. Наконец, и в Темрюке белые показали острые зубы: партизаны оттуда прискакали к нам на всех парах, какая-то дикая конница выбила их из Темрюка и двинулась на Пологи.

Вот в каком кольце мы очутились! Что же Махно? От батьки не было ни слуху ни духу. Мы с большим нетерпением ждали обещанной помощи. Проклятая анархия! Где же его хваленые две тысячи штыков? Жрут галушки за Днпром? В Гуляй-Поле поскакал сильный раз'езд в 10 коней с нашим требованием к Махно ускорить движение его отряда.

С Чикванаем я держал непрерывную связь по прямому проводу. К счастью, провод еще работал без отказа. Под Чаплином наши передовые партии уже столкнулись с противником. Чик

ваная держался бодро: к нему, наконец, прибыли москвичи особого отряда ВЦИК'а, 1-й полк бригады и еще кое-что из армейского резерва.

Чикваная советовал мне не зарываться, сохранить в своих руках связь с Чаплином и Гуляй-Подем и удержать Керменчик. А большего от нас он ничего и не ждет, дальше нам не к чему высовываться!

Удержать Керменчик! Каким же манером? Пассивной обороной — недолго удержишь. Активной—значит, переходить в наступление. Спасение нами только и мыслилось в маневре. Уничтожить мало-янисальскую банду, прежде чем подоспеют силы из Волновахи. Затем можно будет говорить и с последними.

## 6.

Теперь наш фронт смотрел прямо на юг. От Ново-Петровки до реченки Янгул на протяжении пятнадцати верст наше охранение отстреливалось от кадетской разведки. Легкий ветер доносил выстрелы также из-за Янгула. Пятнадцать верст на один стрелковый полк! На версту—полурота. Это фронт, я понимаю!

Мы подвигались медленно, свернуто и укрыто шаг за шагом на юг. До половины дня в деле были только редкие цепочки головных рот. Конница болталась у нас с правой руки без особенной пользы. Но снимать ее оттуда было опасно: мы не знали, что в любой момент могло появиться оттуда, со стороны Полог и Темрюка?

Я с нетерпением посматривал в сторону Гуляй-Поля: не пылят ли на горизонте махновские точанки? И с тревогой ежеминутно взывал к Чаплино по прямому проводу:

— Наше ли еще Чаплино? Держишься еще, приятель?

— Держусь!—отвечал Чикваная,—отбиваем атаки. Вводим свежие силы. Переходим в наступление. А ты крепко стоишь?

— Стою, пока ноги держат.

Ноги еще нас держали. Когда после полудня я выехал на машине в поле,—партизаны продвинулись уже верст на двенадцать. Местность на всем пространстве, доступном глазу, равномерно поднималась от нас к югу. День был яркий и горячий, какой-то дымок висел, как паутина, белил небо. И в этом мареве далеко рябили на зеленых выпуклостях полей волнистые линии наших батальонов. В цепи уже было три четверти полка, и беглый огонь мне показался жарче, чем я ожидал. Горизонт гудел монотонным звуком,—гулом, который медленно перекачивался с одного края до другого.

Я застал Камалюка на батарее. Орудия не вязывались в перестрелку, противник нигде не закреплялся, отходил укрыто и не давал мишеней. Неприятельская артиллерия не подавала голоса. Нашим пушкам можно было не усердствовать.

Здесь на батарее меня разыскал полковой адъютант, прискакавший верхом из Керменчика. Мы с командиром полка стояли на холме с артиллерийскими наблюдателями и в бинокли рассматривали столбы пыли перед нашей цепью. Адъютант, наклонившись к шее коня, покрытой густой пеной, доложил: прибежали два бойца из раз'езда, посланного в Гуляй-Поле. Раз'езд встретил конных кубанцев верстах в 8 от Гуляй-Поля, принял их за простую разведку белых и об'ехал стороной, продолжая свой путь. Но в ближайшем же хуторе наткнулся на многочисленную конницу противника, зазевался, попал в засаду и был изрублен. Вырвались и убежали двое на лучших конях, которые и принесли эту весть в Керменчик.

Камалюк холодно выслушал это известие; убийственное для нас. А я мог только свиснуть в ответ: между нами и Гуляй-Подем—кубанцы! Мы окончательно окружены. Похоже на то, что и Гуляй-Поле занято белыми.

Адъютант еще ниже наклонился в седле и вполголоса сказал:

— Разрешите доложить: связь с Чаплино прервана, провод не работает. Разрыв на линии.

— Загналась коняка,—добавил он, как бы в утешение нам.— Двенадцать верст шпарил галопом.

Он погладил лошадь нагайкой по взмыленной шее.

Я оторопело посмотрел на Камалюка. Он поднял голову и бесстрастно смотрел вперед,—туда, где его полк залегал в невысокие овсы, готовясь встретить идущие на него столбы зловещей пыли.

— Товарищ командир батареи,—сказал Камалюк своим сухим сдержанным тоном.— Занимайте позицию, прошу. Огонь по видимой цели.

Он ткнул пальцем вперед.

Конница белых умчалась так же легкомысленно, как и налетела. Это была несерьезная атака,—так, прощупывание слабых мест. К ночи наша пехота вскарабкалась по склону на самый хребет возвышенности, вслед за отхлынувшим противником. Этот день оказался довольно изнурительным: с утра в россыпном строю с боем прошли 15 верст.

На ночлег полк сомкнулся, батальоны прижались тылом один к другому, батарея стала в середине, кавдивизион отошел к Ново-Петровке. Весь отряд занял по фронту версты четыре. И все в отряде легли пластом, как только коснулись земли. Я побродил по этому сонному царству, желая найти хотя бы одну озабоченную душу. Все, что было тут живого, беззаботно растянулось и храпело на весь свет.

Нашел командира полка,—спал сном младенца вповалку с двумя десятками соратников в единственной хате. Комполка сразу проснулся и сел, сердито уставив на меня один раскрывшийся глаз.

Что у вас за беспечные порядки?—сказал я.—Ни одного часового в лагере. Про наружное охранение и говорить не приходится. Хотите по стопам Филимонова?

— Наряд сделан,—вяло возразил Камалюк.—Назначены сторожевая и дежурная части.

— Да ни одной собаки не видно. Я сам обошел весь полк.

— Сделан наряд,—упрямо повторил Камалюк.—Все в порядке.

Он лег и спокойно пробормотал, закрывая глаз:

— О чем разговор? Утром все будут на ногах.

Утром все были на ногах, Камалюк предугадал в точности. Этому можно было изумляться: ведь все располагало к тому, чтобы никому из нас не встать больше на ноги. А мы не только встали, но еще и пошли весьма резво вперед.

Ночлег вышел прекрасный, противник не кажет носа, обстановка складывается отлично,—все стало рисоваться нам в розовом свете. Даже вчерашняя операция, при благожелательном утреннем освещении, приняла вид почти победоносный. Удиралась, чига востропузая? Не пьешь из нашей бутылки? Это тебе не филимоновские ротозей,—тринадцатый, цифра известная Днепру и Черному морю.

Роты поднялись и пошли, как один человек. Штаб полка работал в хате, на живую руку разрабатывал оперативную задачу полку. Машинки стучали, как бешеные. Писаря согнулись в три дуги. Генерал-квартирмейстер полка, Сенька Бочар, корявыми пальцами подмахивал расчеты движения колонны. Валяй, штаб, чеши приказы, припечатывай победу!

Шагали, свежий утренняя шипучим вином плескал в легкие. В мускулах—железо, в желудках—клецки с салом, патронташи набиты патронами. Двигались сосредоточенно, не по-вчерашнему. Полк сжался, подобрал крылья, сгустил строй: короткий фронт, большая глубина. Полз, как тигр на добычу, осторожно, озираясь кругом, ощетинясь железом во все стороны, готовясь принять врага отовсюду.

И белые появились сразу с трех сторон. Передовой батальон уперся в огненную преграду,—вышел прямо на огонь пехоты неприятеля. Она лежала на открытой местности поперек гладкого плато, которое мы пересекали. Наш батальон выпустил одну роту в цепь, оставаясь в тесном строю, два другие батальона остановились, не развертываясь, в одной версте сзади.

Конный дивизион стоял справа, укрывшись за неровностью почвы. И тотчас-же с обеих сторон из-за боковых скатов плато выскочили черные линии неприятельской конницы. Их план был шит белыми нитками: отвлечь наше внимание на свою пехоту, а затем вдруг показать с двух сторон конницу, ошарашить, нагнать страху,—смятение, паника, всеобщее бегство. Как бы не так! На испуг тут не возьмешь,—Тринадцатый—травленные волки. Мигом выставили тяжелые пулеметы, навели орудия,

брызнули железом,—конницы как не бывало. Скатилась разорванной каймой назад под откосы.

Нащ авангард сделал попытку сблизиться с неприятелем—рота пошла перебежками вперед. Но вслед затем обнаружился охват нашей цепи пехотой белых: фронт противника вытягивался вправо и влево, он явно нависал над нашей головной ротой. И Камалюк быстро двинул в дело весь 1-й батальон. Он легко, как бы шутя, развернулся в цепь, сразу удлиннив втрое протяжения нашего фронта, и беглым шагом бросился вперед сквозь зеленые хлеба.

Это вышло неожиданно быстро и стройно, противник тотчас же сдал назад, его огонь совсем упал. Мне показалось; что еще небольшое усилие, и мы окончательно собьем его и погоним.

Но тут обнаружилось что-то справа от нашей линии. Там тянулся глубокий и извилистый овраг, не допускающий флангового обстрела. Оттуда упорно доносилось тарахтенье пулеметов и сыпались тучи пуль. Наша артиллерия ничею не могла поделаться с этим оврагом. Тогда выступил на сцену конный дивизион: Камалюк бросил его на эту лощину. Дивизион, цепкий, как кошка, прячась за всякую складку почвы, подошел почти вплотную к оврагу и вдруг появился над ним темным частоколом; с воем бросился в атаку сомкнутой массой. Наша конница прошла насквозь лощину, поскоблела ее своими шашками, счистила присохшего там неприятеля. А затем дивизион смаху вынесся по ту сторону оврага и лицом к лицу столкнулся с конницей белых.

У нас на глазах разыгрался этот шок. Мы видели, как точно из-под земли, выросла черная масса неприятеля, разошлась широким полукругом; ослепительно сверкнула лесом шашек и приняла нашу конницу в свои яростные недра. Черный водоворот закипел в том месте, а через две минуты наш дивизион отхлынул назад беспорядочной толпой, роняя по всему полю темные обрывки—людские и конские тела.

Наша конница бешено уходила назад, ведя за собою по пятам стремительного противника. Первый батальон едва успел повернуть одну роту фронтом направо и принять в упор из всех ружей и пулеметов насевшую лавину конных. Было видно, как одну минуту их линия и наша колебались в страшном равновесии. В следующий момент кубанцы повернули и ринулись назад. Но этот вводный эпизод помог неприятельской пехоте снова завладеть инициативой. Могло быть так же, что противник усилил свою стрелковую массу. 1-й батальон пришел в значительное расстройство после конной атаки, и как раз в это время пехота противника стала нажимать, тесня наших на обоих флангах. Шрапнель и пулеметный огонь белых жестоко поражали наши цепи. Нашей стрелковой линии приходилось туго,—и тут с двух сторон опять появились конные.

Тогда Камалюк двинул второй батальон. Мы стояли на перекрестке дорог и пропускали его мимо. Рота за ротой проходили спокойным шагом и, без малейших признаков нервности, тут же аккуратно расходились в цепь. Точно они не шли под убийственный град снарядов и пуль, а расходились по квартирам. Они пересмеивались, проходя мимо, и отпускали шуточки на наш счет.

2-й батальон сразу весь влился в огневую линию, но противник не сдвинулся ни на вершок. Было похоже на то, что теперь-то он и принимается за нас по-настоящему. Кавалерия все нахальной вертелась у нас на крыльях, насканивала со всех сторон. Наш фронт принял странные очертания, изломался, трудно было решить, куда лицом мы стоим.

А через час после выступления 2 батальона Камалюк двинул свой последний резерв. Я видел его невозмутимое лицо, флегматичные движения, слышал сухой голос и начинал понимать, почему полк очертя голову лезет за ним в огонь и воду.

Камалюк сквозь зубы сказал:

— Прикажете вызвать машину?—не то спросил, не то предложил.

Меня передернуло; показался обидным вопрос, я вопросительно смотрел на него.

— Отходить придется,—просто сказал он.

Моя машина ославалась в обозе, я сидел на заводной лошади комполка.

— Не нужно;—сказал я с досадой,—мне и так хорошо.

Вслед за этим разговором наши стали действительно отходить. Это был удивительный отход. 2000 стрелков отступали среди бела дня, построившись кольцом, таща в середине пушки и обозы. Выдерживали тяжелые молоты пехотных атак. Отражали яростные наскоки конницы со всех сторон.

Через каждые три версты останавливались, орудия брали в картечь атакующих, стрелки с бешеной решимостью бросались вперед. Тиски преследования раздвигались, полк свертывался и шагал дальше. Сколько мы оставили на месте по пути своего отступления? Думаю, что не меньше половины людей. Ночь надвинулась и спасла нас. Темнота пришла к нам на помощь, потушила огонь, косивший наши ряды, остудила пыл кавалерийских атак. Под прикрытием темноты, в союзе с ночью, мы кое-как приплелись к Чаплину.

Не знали, чем еще угостит нас Чаплино? Готовы были пробиваться силой дальше на север. На всякий случай уклонились в сторону, перешли железную дорогу и явились в то самое село, откуда недавно двинулись в поход. Здесь мы узнали, что в Чаплино стоят красные войска; через час я сидел в вагоне Чикваная.

Чаплино на следующий день перешло в руки белых. Войска страшно устали, пришли в полное расстройство в результате двухдневного боя. Сменить их было нечем. И в это время кон-

ница белых вдруг появилась со всех сторон вокруг станции Чаплино. В то же время неприятельский бронепоезд ворвался в средину станционных путей на хвосте нашего броневика, который панически удирал. И в минуту все было кончено. Великолепный московский отряд, обильно снабженный техникой, с отличным командным составом, мгновенно был смят, опрокинут и в полном беспорядке попятился назад. Мы поспешно отступали к Синельникову, а конница белых непрерывно маячила у нас на флангах, не давая передышки.

На другой день в Синельникове был короткий бой. Да, бой прошел быстро, как бредовое явление. Кавалерия назойливо вылезла к самой станции слева и справа, эти черные линии неотступно висели на горизонте и совершенно парализовали стойкость нашей пехоты. Войска были подавлены вечной угрозой кавалерийского охвата. Мы переживали полосу страшного упадка боеспособности, тяжкий психологический надлом разрушал нашу активность. И это все делала кавалерийская угроза. Один вид нескольких конников за своим флангом подымал нашу пехоту и гнал прочь, как ветер листья. И мы оставили Синельниково почти без боя.

Затем последовала эта несчастная попытка вернуть Синельниково, которая стоила нам одного бронепоезда и окончательно деморализовала бойцов.

На станции Ивановка под самым Екатеринославом мы сделали последнее усилие остановить белых. Горсть бойцов оставалась у нас, и эта горсть, стиснув зубы, вышла в поле навстречу бронепоездам, орудиям, пулеметам и страшной кавалерии врага.

Это была скоротечная и молчаливая борьба, молния ненависти, взрыв бешеного самопожертвования. Но черные змейки уже высыпали из-за холмов по обе стороны станции. Этот кошмар уже нависал над нами. Все, что находилось на станции, поспешно бросилось дальше, на запад, куда глаза глядят.

Наш бронепоезд гордо держал себя на совершенно открытых; пустынных путях: старался загладить позор вчерашнего бегства. Не сдвинулся с места до последнего мгновенья, стоял до отказа, пока наш огонь в поле совсем не затих. Чикваная сидел на паровозе и выдерживал марку, игнорируя шайки конных, которые, как шакалы к трупу, подбирались уже к железнодорожным путям.

В станционном садике стояло несколько оседланных лошадей, а я спешно диктовал по проводу депешу в Екатеринослав: «Сдаем Ивановку! Отходим! Готовьтесь!» Я тревожился, спешил; торопился передать все существенное, что полезно было бы знать Екатеринославу. И поэтому не обратил внимания на военкома бронепоезда. Мельком взглянув, увидел в дверях его фигуру—маленький человечек с большим лицом и в больших сапогах, с кожаной фуражкой на затылке, опоясанный маузером. Он сердито прокричал мне:

— Чего там копаются? Валите живей, сейчас отходим!

И скрылся, а через минуту я услышал шум отходящего поезда. Броневик уходил, окутанный черным дымом и громыхая пушечными выстрелами. На станции уже не было ни души, я промчался по перрону, никого не встретив. И вдруг в садике увидел человек трех, поспешно отвязывающих лошадей. Один из них закричал мне, махнув рукой на Екатеринослав, это был нашгабриг Покус. И я тоже поспешил отвязать чью-то лошадь, влез в седло и погнался вслед за ним. Конь подо мною шел резво. Вынесет! И я подумал о том отсталом партизане, который примчится опроретью на станцию, на бегу надевая через голову винтовку,— и не найдет своей коняки. Да, его-то никто уж не вынесет... Но эта мысль только мелькнула. Он ли, я ли—кто-нибудь должен был остаться. О чем толковать...

Мы вчетвером галопировали по совершенно пустынному шоссе в надвигающихся сумерках. За нами остались мертвая искалеченная станция с уничтоженными стрелками и взорванной водокачкой и темная равнина, полная зловещих теней, насыщенная угрозами и опасностями. А перед нами лежали беззащитные поля Украины, не сулящие никакого упора, города и деревни, за которые мы не могли зацепиться. Ломанный путь отступления, кривая жертв и разгромов, маршрут смерти.

Деникин опрокинул весь фронт красных войск от каменноугольного района до Черного моря. Партизанская стихия разбилась под ударами гибких и стремительных конных масс контрреволюции. Дикие тучи конницы нанесло восточным ветром, этот ураган проломил украинский фронт. А вслед затем покатились и Донецкий участок. Вся наша армия и соседняя, Тринадцатая, поспешно и довольно беспорядочно отступали—за Днепр, за Харьков, за какой-нибудь крепкий надежный барьер, под стены пролетарской цитадели.

Е. БРАЖНЕВ.

---





## Лилиана.

С базарной площади, где груди ананасов  
Удушливый струили аромат,  
В лазурь, летящую над далями пампасов,  
Поднялся столб и на столбу плакат.

Сегодня в три здесь будет негр линчеван,  
На белого посмевший руку вздеть  
За то, что белый с чернью саранчевой  
Американскую знакомил плеть.

В кафе спешили желтые панамы,  
На виселицу скаля желчь зубов,  
И в перья разукрашенные дамы  
Про казнь читали, как про бой быков.

Гремел трамвай, и члены ку-клукс-клана  
В вагонах дыбились, как-будто не при чем,  
И только взор их, набожно-стеклянный,  
По виселице бегал палачом.

Был день, как день, и в сутолоке дела  
Никто не видел, что у черного столба  
Комочком черным девочка сидела  
С глазами, как бездонные гроба.

За много миль она из дома ночью вышла,  
Надсмотрщика плантаций обманув,  
Бежала, плакала, быкам вцеплялась в дышла,  
На казнь отца несла свою весну.

Решила твердо маленькая Лилиана:  
„Спасу отца иль вместе с ним умру“.  
Она не знала, что законы ку-клукс-клана  
У черного птенца охотно жизнь берут

Был перерыв в делах и предприятиях,  
Когда отца ее на площадь привели.  
И кинулась она отцу в объятия  
Огнем, внезапно вставшим из земли.

И тотчас же смешались слезы с кровью.  
Ребенка не сдержал закованный отец.  
Одной и той же плеткою воловьею  
Отца и дочь перевязал двойной рубец.

Зубами девочка в начищенные краги  
Вцепилась офицеру с криком боевым.  
Но офицер в заботах о гражданском благе  
Ее отбросил, как пучек сухой травы.

И негра возвели под столб. Тараном  
По зрителям ударил гулкий барабан.  
Сквозь строй к отцу пробилась Лилиана.  
Кто будет жить? Она иль ку-клукс-клан?

Последний взгляд, и негр поднялся к небу  
На поляршина от своей земли.  
И, закачавшись, будто человеком не был,  
В последних судорогах ноги шевелил.

И за ноги отца схватилась Лилиана,  
Из стражи кто-то наклонился к ней,  
Но разрешил с улыбкой председатель клана:  
„Пусть тянет! Негр удавится скорей!“

Она на палача набросилась тигренком,  
Ногтями острыми впиалась ему в глаза  
И костяною ручкой стэк над головой ребенка  
Блеснул и жизнь ребенка взял.

С базарной площади, где груды ананасов  
Удушливый струили аромат,  
В лазурь, летящую над далями пампасов,  
Четыре глаза неподвижные глядят.

И миллионы черных смотрят с ними вместе,  
Как над пампасами встает в огне звезда,  
Чтоб бурями непобедимой рабской мести  
Насильников из мира выжечь навсегда.

# Черноморское восстание<sup>\*)</sup>.

(Воспоминания).

## Судебное преступление.

Первые пять дней моего пребывания в госпитале я никого не видал, за исключением санитаря, приносившего мне есть и ни за что не желавшего выслушивать мои требования, чтобы меня, наконец, подвергли медицинскому освидетельствованию. Упорное молчание санитаря навело меня на ужасную мысль, как бы военное комендование, низость которого была мне известна, не заперло меня, как душевнобольного и таким образом на самом деле не привело меня к безумию. Поведение прокурора на суде как будто оправдывало подобное предположение. Хотя часовой-мальгаш все время сторожил меня, не спуская глаз, мне удалось завязать сношения с некоторыми солдатами. Им я изложил свои опасения, а затем предупредил санитаря, что если завтра меня не осмотрят врачи, я устрою в палате полный разгром. И, действительно, доктора явились.

В Константинополе не было специалистов психиатров и меня следовало бы перевести в какой-нибудь госпиталь во Францию, но тогда меня пришлось бы там и судить. И вот, чтобы избежать той огласки, которую мой процесс получил бы во Франции, ко мне прислали двух первых попавшихся врачей. Один был старший врач госпиталя, трехгалунный майор, гораздо больше офицер, чем доктор, другой — специалист бактериолог. Ни тот ни другой не были психиатрами.

Они меня осмотрели, затем долго со мной говорили. Я отказывался отвечать на их вопросы, повторяя только «Ваше дело осудить меня. Служите вашим господам. Вы увидите, как меня расстреляют, это все, что я могу вам сказать».

Бактериолог был тронут и несколько раз после своих посещений пожимал мне руку.

После 12-дневного пребывания в госпитале меня перевели обратно в посольство и посадили в подвал.

Заключение врачей говорило о моей полной вменяемости; хотя за все время войны не было случая, чтобы врачи, осматри-

<sup>\*)</sup> Продолжение. См. № 6.

вая подеудимых, не пытались в своем диагнозе так или иначе ограничить вменяемость. По отношению ко мне, обвиняемому по делу, имевшему отношение к борьбе классов, врачи, разумеется, оказались беспощадными. Да и вообще все их заключение не носило строгого медицинского характера. Врачи, которым было поручено исследовать мои умственные способности, писали: «Марти обладает силой свыше средней» и далее: «Повидимому, Марти питает преувеличенную привязанность к своей семье».

Итак, меня снова вызвали в военный суд. Своего адвоката я увидел 3 июля на 5 минут и то только потому, что прокурор (все тот же майор Ларош) послал его ко мне. Лавалет сказал мне: «Какая досада, что они признали вас вполне вменяемым. Мне вам советовать нечего, вы сами знаете, что делать»—и это было все. Для адвоката это было, разумеется, весьма слабо.

В 3 часа меня вывели из камеры и под усиленным конвоем перевели на линейный корабль «Кондорсе», где в 9 часов вечера мне «забыли» дать поужинать, хотя все знали, что я нахожусь на борту.

На другой день, 4 июля, в 1 час дня в офицерской кают-кампании начался суд. Как и на первом заседании на «Париже», так и теперь зала заседания была битком набита матросами, но начальство на этот раз озаботилось тем, чтобы впустить сначала как можно больше офицеров, боцманов и унтер-офицеров, так что для матросов оставили только часть помещения и без того тесного. Председательствовал капитан 1 ранга Мандин.

Я сделал те же заявления, что и на первом заседании. Как и тогда, заявив, что я по профессии рабочий-механик, я бросил вызов судившей меня офицерской касте. Нисколько не интересуясь деталями обвинения, не обратив почти никакого внимания на обвинительный акт (к тому же секретарь, читавший его, был так взволнован, что перескочил через три страницы), я поставил вопрос в его наиболее общей форме и еще с большей тщательностью, чем на первом заседании, избегал вдаваться в конкретные подробности. Я говорил о незакономерности интервенции, напомнил об ужасающих событиях в Херсоне и утверждал, что восстание законно. Ссылаясь на статью «Декларации Прав Человека и Гражданина», гласящую, что «если правительство нарушает конституцию, восстание является священным правом народа»<sup>1)</sup>, я закончил следующим словами:

«Вы не имеете права меня судить, вы сами подлежите суду за то только, что меня судите».

Председатель суда, Мандин, был чрезвычайно недоволен оборотом, который принимало судебное следствие. Он ясно чувствовал, что продолжать в том же духе значит рисковать новым

---

<sup>1)</sup> Такая статья, действительно, содержится в «Декларации Прав», входившей в якобинскую конституцию III (1793) года, действовавшую во Франции до падения Робеспьера в 1795 г. *Ред.*

движением среди команды, не забывшей еще недавних событий. Быть может, ему было известно также и то, что я в течение нескольких часов, проведенных на «Кондорсе», сумел распространить среди команды прокламацию; в которой раз'яснял сущность событий на Черном море, и призывал матросов, не теряя времени, избрать подпольный комитет и восстать. Поэтому председатель решил ускорить судебное следствие, не задал ни одного вопроса, ни словом не упомянул о «Вальдек Руссо» и в 35 минут допросил 14 свидетелей, т.-е. каждый свидетель после опроса (как зовут и проч.) давал показание самое большее 2—3 минуты.

К вечеру, когда заседание шло к концу, команда пришла в нервное состояние и всюду можно было услышать вызывающие толки.

На другой день, 5 июля, заседание возобновилось после полудня. Началось оно выступлением прокурора Лароша. С точки зрения юридической его речь была совсем жалкой: невольно приходило в голову, что этому порядочному человеку претила его роль. Он не привел ни одного серьезного аргумента и требовал в общих и неясных выражениях сурового наказания. Говорил он с четверть часа.

Затем поднялся защитник Лавалет и по мере того, как он говорил, на лице матросов ясно вырасталось выражение крайнего изумления. Лавалет защищал меня так, что сам же разрушал все то, что, с буржуазной точки зрения, можно было бы сказать в мою пользу. Например, он говорил: «Марти сказал: здесь, что проделал всю войну в передовой линии, желая, очевидно, высмеять тех, которые не имели чести видеть близко неприятеля (дело шло, вероятно, о членах суда, проводивших всю войну вдали от опасных пунктов). Ну так вот что, господа,—когда я командовал ротой, я не говорил: те, кто служил три года на войне,— в первое отделение, те, кто прослужил два года—во второе и так далее. Каждый выполнил свой долг, куда бы его ни поставила судьба».

«Марти гордится своей трудовой жизнью и своим плебейским происхождением. Если так, то ему следовало бы стыдиться того, что он подрывал устой демократической республики, поднявшей его на почетное место, давшей ему, рабочему, то же содержание и почти те же функции, как и отборным людям, которые поддерживают честь Франции на морях.

«Несмотря на заключение врачебной экспертизы я настаиваю на том, что Марти нельзя считать челогеком, вполне владеющим своими умственными способностями. Он дошел до того, что отказался от услуг моего коллеги и друга, Поля Лафона, адвоката при парижском апелляционном суде (дело шло не о Поле, а Эрнесте Лафоне. Лавалет напрасно также старался дать понять, будто и он состоит при том же суде—это неверно, его имени нет ни в одном списке). Я прошу у суда снисхождения к моему подзащитному».

Ни слова о большевиках; а между тем при первом свидании со мной он обещал отметить образцовое поведение большевиков по отношению к французским солдатам,—поведение, засвидетельствованное многими офицерами восточной армии.

С другой стороны, Лавалет не выполнил также своего обещания отметить, что большевики не являлись неприятелем ни юридически (так как не было об'явлено войны), ни фактически (так как не они первые начали враждебные действия против французов после высадки последних).

Этот горе-адвокат не пожелал даже указать на многочисленных свидетелей, которые могли бы аттестовать меня. В список, составленный мною, вошли не одни только матросы, но и высшие офицеры и генералы. Их показания, даже в письменном виде, имели бы то неудобство, что засвидетельствовали бы полную нормальность моего рассудка.

Если бы мой, с позволения сказать, адвокат честно защищал меня, ему пришлось бы оправдывать мое революционное выступление и этим самым он настраивал бы общественное мнение против обвинительного приговора. А это нанесло бы страшный удар воинской дисциплине. Поэтому-то, будучи прежде всего буржуа, он защищал свой класс и топил меня, пытаясь в конце, путем недостойного маневра, об'явить меня сумасшедшим и тем самым ослабить впечатление, производимое на матросов моей революционной аргументацией.

Затем председатель задал мне заключительный вопрос: «Не желаете ли что-либо прибавить в свое оправдание?». Но что ж я мог сказать людям, мнение которых было составлено заранее? Что сказать после речи Лавалета, после низкого выступления адвоката, предавшего того, кто добровольно согласился на его услуги?

Нужно было до конца убедить присутствовавших в зале матросов в правоте моего дела. Поэтому я встал и громким голосом произнес: «Я заявляю о полной своей солидарности со всеми солдатами и матросами, которые в России, во Франции и где бы то ни было отказываются участвовать в подавлении русской революции. Вы меня присудите к смерти, так пусть же эта смерть принесет хоть какую-нибудь пользу: вместо того, чтобы меня расстреливать, отдайте мое тело врачам. Это все, что я у вас прошу!».

Председатель тупо уставился на меня, совершенно сбитый с толку моим ответом. Заседание было прервано и суд долго совещался. Через полтора часа меня, согласно обычной церемонии, под стражей отвели к прокурору. Выражение лиц матросов-конвоиров было ужасно, двое из них так волновались, что штыки их винтовок ходили ходуном в воздухе. Пришлось подождать адвоката, которого еще не было (он сидел в кают-компании в обществе офицеров и оживленно болтал за стаканом вина). Наконец и он появился без фуражки, в растерзанном виде.

Секретарь прочел следующий приговор:

- «1. Сношение с неприятелем,—нет (4 голоса против 1).
2. Подстрекательство чинов флота к переходу на сторону противника,—да (4 голоса против 1).
3. Заговор с целью лишить командира корабля его власти,—да (единогласно).

Смягчающие обстоятельства».

На основании вышеизложенного я приговаривался к разжалованию и к 20 годам каторжных работ с последующей отдачей под особый надзор тоже на 20 лет. Выслушав приговор, я повернулся к адвокату спиной и воскликнул: «Да здравствует республика, но не ваша!» А Лавалет, озабоченный прежде всего защитой интересов своего класса, бросился ко мне и, стоя сзади меня, умолял: «Только не подавайте апелляции, тогда вас на верное расстреляют».

Чтобы осудить меня, эти, с позволения сказать, судьи нарушили свой же закон. Меня нельзя было судить, а тем более осудить «за намерение передать корабль неприятелю», так как подобное преступление предусмотрено кодексом только по отношению к командиру корабля. Как же могли они обвинять меня, который был на миноносце одним из подчиненных? Это значило бы признать, что любой, самый простой матрос равен командиру!

Военный суд долго обсуждал этот пункт обвинения. В конце концов он вынужден был констатировать отсутствие состава преступления, а так как по 1 пункту обвинения (сношение с неприятелем) меня оправдали, то все мое дело, включая и следствие, пришлось бы начать заново, формулировав обвинение уже по другим статьям. Судьи испугались своего бессилия: я очутился бы на свободе, все нужно было бы начинать заново. Какое признание в собственном бессилии, какое впечатление на матросов. И вот, по совету Лавалета, судьи уже в совещательной комнате, без всякого зазрения совести, вычеркнули второй пункт обвинения и заменили его двумя другими, не имеющими с ним ничего общего.

Никогда еще не было допущено подобного судебного преступления: привлечь человека по одной определенной статье уголовного кодекса, судить его по этой статье, а осудить за другое деяние и по другой статье, о которой никто ни словом не упомянул во время судебного следствия и во время прений сторон.

Из этого следует, что Лавалет был не адвокатом, а просто самозванцем, или же если он был адвокатом, то он был и мошенником, так как самый плохой адвокат не допустил бы подобного нарушения элементарных принципов права.

Передержка с приговором об'ясняет также, почему все буржуазные газеты смешали меня с грязью, обвиняя меня в желании продать миноносец большевикам,—эта гнусность была пущена в оборот роялистскими газетами, связь которых с военноморским штабом общеизвестна. Чтобы скрыть свою проделку,

морское командование прибегло к клевете, а бывший министр Рейберти, замешанный в историю с депутатом-мошенником Араго, подхватил ее в 1922 году, воспользовавшись показаниями некоторых матросов, — показаниями, либо фальсифицированными, либо вынужденными под угрозой военным судом. А ведь всякий обвиненный в праве считать себя обвиненным только за то преступление, о котором сказано в приговоре, а не в том, какие ему приписывает фантазия журналистов, свидетелей и даже судей.

Когда приговор был об'явлен, на «Кондорсе» среди команды раздался крик ярости. Команда машинистов делегировала двух своих товарищей, чтобы заверить меня в своей полной солидарности. Один из них, Монрибо, пробрался по краю броневых плит к моему иллюминатору и пожал мне руку, — за это он получил 60 дней тюрьмы. Молодой буфетчик офицерской кают-кампании тоже пробрался ко мне в каюту и, жестоко волнуясь, умолял меня апеллировать в высшую инстанцию, не примиряться с приговором. «Ничего из этого не выйдет», успокаивал его я: «они меня все равно осудят. Это вы все должны апеллировать к пролетариату».

Непосредственно после этого меня перевели с «Кондорсе» в тюрьму. Когда я сходил с корабля, я не встретил ни одного офицера, зато вся команда в полном составе толпилась на палубе, махая фуражками. А я пел революционные и антиимпериалистские песни.

Уже матросы моего караула уверяли меня, что вполне со мной солидарны и сделают все, чтобы помочь мне выйти на волю. Когда же мы пришли в посольство, матросы, несшие там службу, не могли поверить, что приговор был действительно таков, как им говорили. В маленькой посольской тюрьме все были ошеломлены.

Тут я узнал замечательную вещь. В среду, 3 июля, в тюремный караул на 24 часа заступили сенегалы. Уже к 8 часам вечера они были мертвецки пьяны, не исключая и унтер-офицера, караульного начальника. Ни один из часовых не держался на ногах и два каких-то штатских проникли в караульное помещение, взяли ключи от камер и открыли все двери. Арестанты разбежались, но большинство из них, отбывавшие наказание в дисциплинарном порядке, вернулись под утро, проведя ночь в городе. Если бы меня привели в тюрьму в 11 часов вечера, как это было 9 июня, меня, наверное, тоже освободили бы.

Одно время я думал обжаловать приговор, но без надежного защитника я не мог надеяться, что мне удастся снова выступить публично с обширными заявлениями, которые так действовали на слушателей. Если же дело в апелляционной инстанции будет слушаться при закрытых дверях, то не имело смысла тянуть пребывание в том подземельи, где мне приходилось так туго. Я был неосведомлен в юридических тонкостях и не заметил тогда передержки в моем приговоре. Мысль об апелляции я оставил, щедро расплатился с продавшим меня Лавалетом (я ему дал

500 франков) и спешно отправил—тайком разумеется—несколько писем во Францию.

Вечером, 8-го, когда стало известным, что церемония разжалования назначена на другой день, ко мне в камеру проникли два матроса. Предварительно они заявили сержанту, начальнику караула, что если он их не пропустит, они его убьют. Сержант запер их со мной на полчаса. Минут десять они не могли выговорить ни слова, заливаясь горькими слезами. В конце концов мне все же удалось дать им инструкции: по возвращении во Францию рассказывать все, что произошло и развивать максимальную пропаганду. Одному я дал свои никелевые часы с серебрянной цепочкой, привезенной из Китая, другому—большой красный шелковый платок, которого у меня не могли найти, несмотря на все обыски и который я берег на случай моего расстрела. Платок этот я просил матроса сохранять до дня революции.

Когда прошли полчаса, понадобились бесконечные увещания, чтобы убедить матросов спокойно удалиться. Один из них во что бы то ни стало хотел вывести и меня и говорил сержанту: «Трудно тебе, что ли, отсидеть 30 дней за то, что ты выпустил человека». А другой все носился с мыслью убить прокурора. Он был автомобильный шофер и все твердил: «Я его вывалю в овраг, сам там пропаду, да мне все равно». Наконец, я их выпроводил, а на другой день, когда меня вывели на церемонию разжалования, я увидел их—они успели успокоиться. Повидимому, переговорив с товарищами, они решили вести себя более благоразумно.

В 1 час пополудни 9 июня меня ввели на борт «Вальдек Руссо». Я был все еще в своей синей блузе. Меня тотчас же отвели к начальнику штаба, седому, как лунь, старику. Он потащил меня в свою каюту и умоляющим тоном стал просить у меня одного «одоления». Этот человек, один из высших командиров флота, умолял меня, каторжника, не делать скандала или каких-нибудь выходов. Его трусливая низость мне была противна и я прервал его уговоры словами: «Хорошо, я буду вести себя тихо, обещаю это вам не как офицеру, а как старому человеку, которого мне жаль».

Но как только я вышел на палубу, я пожалел о данном слове. За строем матросов толпились машинисты корабля и многочисленные делегации от морской базы. Всюду виднелись приветливые лица, кое-кто делал мне знаки рукой или фуражкой. Я сам помог старшему унтер-офицеру команды машинистов отпороть пуговицы и нашивки с моей старой офицерской куртки, а когда я проходил мимо строя, я во всех взглядах и жестах видел горячую симпатию, несмотря на то, что все они были очень молоды и только что прибыли из Франции. Если бы я обратился к ним с речью, наверняка вспыхнуло бы новое восстание.

После церемонии меня перевели на транспортное судно «Вин-Лонг», отходящее во Францию. На верхних ступенях сходней

меня ждали жандармы, надели мне ручные кандалы и отвели в каюту, где мы помещались втроем—два жандарма и я—всю дорогу.

Мне надели и ножные кандалы, а на ночь специальной цепью приковывали к переборке. Переход до Тулона был для меня чем-то вроде триумфального шествия: матросы беспрестанно передавали мне все, в чем я мог нуждаться, даже тайком готовили мне особые кушания. 16 матросов с «Кондорсе», запертые в трюме и отправлявшиеся в дисциплинарные батальоны, каким-то образом ухитрились в самом начале перехода отправить ко мне делегацию из трех человек, чтобы заверить меня в их полной солидарности со мной. Командир транспорта, чрезвычайно взволнованный тем, что ему приходится везти такого преступника, отдал самые строгие приказания и жандармы каждую ночь сажали меня на цепь, запирали каюту на замок, а револьверы держали под рукой.

В Марселе высадили 16 матросов с «Кондорсе»; а 16-го к вечеру наш транспорт вошел в Тулонский порт. Сейчас же меня под усиленным конвоем отвели в морскую тюрьму и заперли в камеру.

Это было началом каторги.

### Страдания и борьба. Матросы и их тюремщики.

В июле на фортах Фриуля около Марселя были заключены и совершенно отрезаны от внешнего мира 12 осужденных матросов из команды «Вальдек Руссо». Их отрезали от сообщения с внешним миром, точно зачумленных,—и действительно, «зараза» революционных учений грозила охватить всю Францию.

Через несколько дней заключенные были переведены в отвратительную тюрьму на форт св. Николая в Марселе. Она оставила по себе ужасную память у тысяч солдат, прошедших через нее. Там царил самая отчаянная, самая ужасающая грязь. Несчастные узники под надзором невероятно грубой стражи толкались на дворе, пытались хоть немного отдохнуть по уголкам после ночей, когда всевозможные насекомые не давали им спать в общих спальнях. Смотрители и надзиратели обворовывали заключенных, крали посылки или же забирали в свою пользу половину, а то и три четверти содержимого, постоянно грозили револьвером или дубинкой. Одного надзирателя так и прозвали «мандолиной», чем он даже гордился («мандолина» на каторжном жаргоне означает дубинку или толстую палку, при помощи которой надзиратели «воздействуют» на арестантов).

17-го я был помещен в одну из камер военной тюрьмы в Тулоне. Меня держали в строжайшем одиночном заключении: этажом выше помещались матросы с «Франс» и «Прованс», но мы ничего не знали друг о друге. Вся буржуазная печать сообщала

о моем прибытии, называя меня бандитом, продавшимся большевикам. Таким образом правительство Клемансо пустило в ход очень простой прием: оно заранее клеветало, надеясь, что ему не придется оправдываться.

21 июля меня перевели в арестный дом в Тулоне, при чем сопровождавшие меня жандармы предупредили меня, что, в случае попытки к побегу, я буду убит без разговоров.

Тулонский арестный дом представляет собой также одну из тех смрадных французских тюрем, где заключенные плохо питаются, задыхаются от тесноты, и где с ними обращаются, как со скотиной.

Главный надзиратель одновременно заведывал тюремной лавочкой, в которой арестанты могли прикупать себе продукты. Он, конечно, постарался обратить арестантский паек в пустую горячую водицу и заставить арестантов покупать в лавочке его лежалые товары.

Состав тюремного населения был весьма пестрым. Солдаты и матросы, осужденные за воинские преступления, сидели вперемежку с обыкновенными уголовными. Как это всегда бывает во Франции, между осужденными за нарушения воинской дисциплины и профессиональными преступниками никакого различия не делалось, но, несмотря на это, среди заключенных наблюдалось относительное единодушие и согласие. Через несколько дней после моего прибытия все солдаты и матросы, в результате политических споров, возгоравшихся по вечерам в общих спальнях, пришли к убеждению в необходимости насильственной революции. Группа матросов, приговоренных к каторге и ночевавших со мной в особой камере, решила бежать. План был самый простой: захватить ночью одного из надзирателей, отнять у него ключи, открыть двери и выйти на волю. Удалось раздобыть пилку для распилки железа, и побег назначили на ночь с 30 на 31 июля. Я тоже обещал участвовать в побеге, но через несколько дней после того, как дал слово, узнал из тайком полученных газет и из разговоров со вновь прибывшими о том, какие размеры приняла мятежи в Бизерте и в Тулоне, и о том, что среди матросов произведены многочисленные аресты.

Тогда, тщательно взвесив все возможности, я с болью в сердце решил не участвовать в побеге, так как мой побег мог бы быть истолкован в дурную сторону. «Тюремное начальство,—заговорили бы в кругах рабочих,—конечно помогло Марти бежать, ведь он офицер, а бедные матросы,—те пойдут на каторгу». И вот, когда заговорщики спросили меня в дортуаре, бегу ли я с ними, я, скрепя сердце, ответил: «Нет, не бегу, но я обещал вам помочь и сдержу слово».

Каждый вечер заключенные раздевались в коридоре и входили в спальни по одиночке совершенно голые, держа каждый в руках разложенную рубашку так, чтобы дежурный надзиратель мог убедиться, что в ней ничего не спрятано. Однако разре-

шалось вносить с собой скверные книжонки, которые выдавали из тюремной библиотеки. И вот один из товарищей в книге прорисовал пилку.

Было 4 часа. Как только нас заперли, мы принялись за работу. Я и один солдат, по имени Петрюс, взялись за железную планку кровати и, работая поочередно, распилили ее с одной стороны под прямым углом, а с другой подпилили сверху и снизу под острым углом так, что получился заостренный конец. Мы работали с таким воодушевлением, что пилка сломалась у меня в руках. Когда наш инструмент—нечто в роде острого лома—был готов, мы с его помощью принялись выламывать стену в коридор на высоте человеческого роста. Стена была сложена из тройного ряда кирпичей. С бесчисленными предосторожностями мы вынули один кирпич, а затем, действуя при помощи двух матросов, постоянно сменявшихся, мы понемногу сняли два первых ряда кирпичей. Чтобы нас не накрыли за этим делом, мы прибегли к очень простой системе: наша спальня находилась во втором этаже, а как раз под нами в такой же камере помещался солдат, бежавший с каторги и наказанный за побег кандалами. Он все время ходил по камере, и мы слышали звон его цепей. Как только какой-нибудь из надзирателей подымался по лестнице, закованный останавливался, звон кандалов прекращался, и мы, понимая, что опасность близка, прерывали работу.

По моему совету мы не вынимали последнего ряда кирпичей, так как следовало бы переждать вечерний обход (в 10 часов),— в противном случае надзиратель увидел бы свет через отверстие в стене (коридор не освещался) и поднял бы тревогу. Когда же обход прошел, мы вынули последний ряд кирпичей: стена была разобрана на пространстве 60 сантим. на 40. Тут-то я и сообщил товарищам, что не бегу, и предоставил им действовать самостоятельно.

Беглецы—их было пять человек—пожали руки остающимся и слегка взволнованные один за другим пролезли через пролом в коридор. Там они остановились у первого заворота и стали ждать.

В половине первого ночи надзиратель еще не проходил для полуночного обхода. Тогда один из беглецов пролез обратно в спальню и просил как-нибудь вызвать надзирателя. Я тотчас же начал перебранку с другим заключенным, и мы подняли такой шум, что надзиратель проснулся и поднялся к нам, чтобы нас наказать. Но как только он подошел к углу коридора, его оглушили двумя ударами кулака в лицо, связали и заткнули рот куском простыни прежде, чем он успел пикнуть. Заговорщики выхватили у него ключи и открыли все спальни с криком: «Амнистия!» Несколько человек выскочило из камер и дортуаров и все бегом бросились к воротам на улицу, открыли их и вышли на волю. Всего бежало 15 человек из 150. Ошибка их была в том, что они оставили связанного надзирателя в коридоре, а двери камер—

открытыми. Побег произошел в половине второго утра, а в два часа надзирателя развязали два грабителя, содержавшиеся в предварительном заключении. Они думали этим поступком заслужить благосклонность присяжных.

И вот, благодаря такому невероятному промаху, вся полиция была поставлена на ноги и в 7 часов утра четверо беглецов были уже пойманы. Что же касается остальных, то все газеты обратились к населению с призывом мобилизовать на ловлю беглецов всех охотников, какие только найдутся. И тысячи вооруженных ружьями крестьян, не считая жандармов и полицейских, бросились в погоню. Еще несколько человек было задержано. Наконец, утром 3 августа, кучка крестьян заметила в поле Вуайена и Фаттичи, матросов-беглецов, и солдата Морена, тоже из группы бежавших. Крестьяне не побежали за полицией, а подошли и в упор стали стрелять в них. Вуайен бросился в ров и спасся. Фаттичи и раненый Морен были схвачены. У несчастного Морена вытек глаз, была раздроблена рука, в голове и по всему телу засели дробины. Его привезли в тюрьму в ужасном состоянии, он очень страдал, а когда его товарищи пытались передать ему чашку молока, главный надзиратель со свирепым рычанием бросил чашку о пол и посадил в карцер тех, кто ее принес.

В конечном итоге, только семь человек не были пойманы, а между тем, если бы заговорщики вели себя в коридоре так же умно, как и в спальне, побег удался бы. Для этого следовало только отнести надзирателя в одиночную камеру и тщательно запереть его там, а также запереть все камеры. Таким образом, уж наверно никто из тех, кто не пожелал присоединиться к беглецам, не мог бы поднять тревогу, чтобы подслужиться к начальству.

Стоит отметить, что реакционная печать сообщала: «Можно было опасаться, что Марти тоже бежал. Спешим успокоить население: он сидит за решеткой». Такова буржуазная психология! Она скорее согласится увидеть на свободе уголовного преступника, чем коммуниста.

Нечего говорить, что началось тщательное расследование. Я был вынужден дать показания и к ним я приписал: «В случае, если тюремная администрация сочтет уместным предоставить мне кое-какие льготы, чтобы я не пытался бежать, я заявляю, что заранее от них отказываюсь, разве только эти льготы не будут одинаково распространены на всех других матросов, пострадавших по черноморскому делу».

Строгость тюремного режима была еще усилена, хотя казалось, что в этом отношении дальше идти было некуда.

20 августа в арестный дом прибыл Перрон с «Вальдек Руссо». Предварительно его поместили в военно-морскую тюрьму в Тулоне, где его 35 дней держали в строгом одиночном заключении, надеясь вырвать у него признания.

Я же, со своей стороны, как только прибыл в Тулон, просил вызвать меня свидетелем защиты по производившемуся в военном

суде делу матросов из команды «Франс». В конце июля один из членов-докладчиков военного суда явился и спросил меня, что я могу показать по этому делу, но я отказался говорить, заявив, что буду показывать только в присутствии матросов и рабочих и что я ничего не имею сообщить представителю правительства.

Мы с Перроном составили совместно текст воззвания, который я проредактировал и тайком переправил на волю. Воззвание было передано секретарю социалистической партии в Варе, а затем отправлено в Париж Эрнесту Лафону, левому социалисту и депутату. Воззвание заканчивалось следующими словами:

«Я иду на каторгу так, как ходил на парадах, с поднятой головой и с криком: Да здравствует Социалистический Революционный Интернационал».

### „Амнистия Клемансо“.

7 сентября 1919 года партия в 18 человек тесно скованных осужденных, в том числе я с Перроном, была перевезена в отвратительных тюремных вагонах из Тулона в тюрьму Сен-Пьер в Марселе. К ней я еще вернусь, когда буду говорить о мучениках «Вольтера». В Тулоне, 13 утром, меня разделили с Перроном и увезли вместе с 17 другими каторжниками (частью осужденными по воинским делам, частью простыми уголовными). В тот же вечер мы прибыли в центральную тюрьму города Нима, где нас встретили следующими приветствиями:

— Ага, вот и вы, знаменитые матросы из Одессы! Здесь у нас молчат и работают или же выходят ногами вперед!

Там я встретил 9 солдат 176 полка, осужденных на каторгу от 5 до 10 лет за отказ идти в бой в Херсоне.

Меня назначили в тюремную мастерскую по выделке мебели и подвергли тому отвратительному режиму центральной каторжной тюрьмы, который описан мной в моей книге «По тюрьмам французской республики» и который напоминает режим средневековой инквизиции.

В Тулоне с 28 сентября по 3 октября слушалось дело о восстании на кораблях «Франс» и «Прованс». Газеты волей-неволей заговорили о восстании в Черном море, но, хоть военное положение и было снято, процесс использовали только реакционные газеты и, разумеется, против подсудимых. Впрочем, до сентября месяца цензура не разрешала сообщать ничего существенного об одесских и севастопольских событиях: так, например, она сняла статью обо мне, которая должна была появиться в «Жерминале», социалистическом и революционном органе в Сен-Дени. Появилась только моя фотография.

Еще через месяц в парламенте начались прения по законопроекту об амнистии. Правительство пустило в ход самое бесстыд-

ное давление на палату, и закон, принятый в октябре 1919 года, был просто издевательством. Тем не менее, требование об амнистии для черноморских матросов было выставлено очень энергично; так что правительству Клемансо, добивавшемуся ограничения амнистии, пришлось поставить вопрос о доверии. Формула доверия была вотирована большинством всего в 35 голосов и вместе с тем была отклонена амнистия для некоторых категорий восставших.

Из амнистии исключались все присужденные к позорящим наказаниям <sup>1)</sup>, что давало возможность передать осужденных матросов в распоряжение гражданских властей. Что же касается тех, которые сидели в военных тюрьмах, то их освободили. В Тулоне выпустили на волю матросов с «Жан-Барта» и «Франс». В числе амнистированных были Нотта и Виллемен, которых отправили дослуживать в африканские батальоны.

А. МАРТИ.

(Окончание в след. №).

---

<sup>1)</sup> С исключением из военной службы, как следствие т. наз. *degradation militaire*. Ред.

## Наша тактика и наши враги.

**П**остановления XIV партийной конференции, 12 Всероссийского съезда Советов и 3-го Союзного съезда Советов, наметившие нашу политику по отношению к деревне, как и в свое время провозглашение новой экономической политики, вызвали и вызывают в среде наших врагов злорадные выкрики об отречении нашем от коммунизма. Среди наших друзей появляется некоторая растерянность, которая распространяется даже на отдельных партийных товарищей. По поводу новой экономической политики в апреле 1921 г. Керенский писал: «Но тогда во имя каких же новых социальных ценностей пролилась вся кровь «Октябрьской» революции? Какой новый социальный строй уже существует или должен существовать в России, от буржуазии освобожденной? Господа большевики привели освобожденный от засилья буржуазии пролетариат и беднейшее крестьянство к разбитому корыту все того же капитализма».

Так рассуждали наши враги, когда, круто повернув руль, мы, под руководством Владимира Ильича, провели новую экономическую политику. Рассматривая мероприятия последнего времени, а именно о допущении аренды, о разрешении наемного труда, льготы кустарям и частному торговому капиталу, развязывание крепкого хозяйства в деревне, наши враги еще больше ликуют и пытаются в своих газетах хоронить и Советскую власть, и коммунистическую партию. Так «Руль» в номере от 15-го апреля с. г. пишет: «Эти уступки только укрепят крестьянство в уверенности в своей силе... Если же принять во внимание, что Советская власть сдала свои позиции и перед частным капиталом, что и последний сознает свою силу, то едва ли будет легкомысленным предсказать, что чем дальше, тем кризис будет развиваться быстрее и катастрофичнее». В номере от 28-го апреля тот же «Руль» пишет: «Одновременно с выселением последних бывш. помещиков, опростившихся до крестьянского трудового крестьянства, санкционируется переход крестьянского хозяйства на батрацкий труд. Это уже не признание старательного крестьянина с его крепким хозяйством, построенным на предложении успешного личного труда, это уже признание «эксплоатации» крестьянина собственником, это уже перевод советского строя на фундамент частной «эксплоатации» труда... Трещина между деревенскими порядками и городскими расширяется».

Пленум Исполкома Коминтерна и резолюция XIV партконференции поставили смело и откровенно в порядок дня вопрос о стабилизации капитализма. Для тех, кто не умеет думать, такая постановка вопроса кажется по-

хоронами мировой революции, отказом нашим от борьбы с капитализмом. Такие люди не замечают того, что после Октября мир разделился на два стана, из которых один, занимающий  $\frac{1}{6}$  часть суши, в труднейших и сложнейших условиях строит начатки социализма и должен доказать, что рабочие и крестьяне не хуже, а лучше капиталистов и вообще буржуазии, наладят хозяйственную жизнь всего мира. Такие люди не хотят или не умеют понять, что на-ряду со стабилизовавшимся капитализмом стабилизова-лся и его враг—Союз ССР.

Довольно симптоматично то, что несоциалистические социалисты из английской рабочей партии раза два ставили на обсуждение в английском парламенте вопрос о том, что капитализм себя изжил и что ему нужно, сознав свою старомодность, перемениться. Конечно, большинство английского парламента, состоящее или из владельцев, или из уполномоченных владельцев различных фабрик и банков, не согласилось с этим предложением и со сме-хом отвергло попытку мистера Сноудена внушить им мысль о необходимости их собственных похорон. Но, если буржуазия может смеяться над предложе-ниями якобы социалиста Сноудена, то она должна призадуматься над выво-дами проф. Кейнса, которого ни в коем случае нельзя упрекнуть в привер-женности к социалистам и который сам себя определенно причисляет к бур-жуазным, а не к каким-либо иным мыслителям и ученым. Профессор Кейнс так заявляет в одной из своих статей: «Индивидуалистический капитализм в Англии достиг точки, когда он не может более покоиться на простой экспан-сии, он должен взять на себя научную задачу исправить строение своей хозяй-ственной машины».

Капитализм, наверно, не последует советам Кейнса. СССР же как раз и есть та сила, которая взяла на себя и научную и практическую задачу испра-вления строения хозяйственной машины, хозяева которой в своих руках держат  $\frac{5}{6}$  всей суши.

Смысл всего происходящего и заключается в войне двух классов, из ко-торых один—пролетариат—на пространстве  $\frac{1}{6}$  части суши строит новую хозяйственную машину для человеческого общества и другой—буржуазия—на пространстве  $\frac{5}{6}$  части света, проклиная и борясь против социалистических «бредней», стремится сохранить старую хозяйственную машину, внося не-значительные исправления, чтобы оставить в силе эксплуатацию большинства меньшинством. Всякий, кто хочет правильно понять происходящее в мире и правильно оценить политику советской власти, должен ясно представить себе вот эту картину борьбы, или, лучше, войны двух классов.

За то, что мы в нашей стране резко подчеркивали классовый характер на-шей диктатуры, за то, что мы откровенно говорим всегда о классовой борьбе, классовой природе государства, классовой природе Советской власти, нас называют обманщиками все те, кто на деле, проводя диктатуру буржуазии, на словах называют свою власть демократической, надклассовой, общенародной. Миллюков, стремясь доказать, что мы ничего не сможем сделать, что удел наш убираться с арены истории, в «Последних Новостях» от 23-го мая, незаметно для себя, высказал правильную мысль: «Силы и средства свои классовая власть всегда отдаст своему классу, своим классовым целям, чтобы словами обмануть и ослабить противника, а делами усилить себя».

Эти слова необходимо запомнить. В пылу полемики их высказал тот, кто за все время своей общественной деятельности как раз это отрицал, на деле осуществляя. Как раз за это, вместе с Керенскими, Врангелями, Черновыми, Львовыми, Данами и т. п. господами, он и был выброшен из России. Милюков сказал ту истину, которую говорили мы, но которую оспаривали и продолжают оспаривать все буржуазные дельцы и деятели и полуюспаривать социалисты-соглашатели всех стран. Мы утверждали и утверждаем, что именно так, как говорит Милюков, действовала и действует всякая «демократическая» конституционная и республиканская и монархическая буржуазная власть.

Вот один из моментов, определяющих, помимо всех других, стабилизацию капитализма. Но если Милюков глубоко прав в определении природы государственной власти при диктатуре буржуазии, то он совершенно не прав, когда по аналогии хочет судить также о природе советской власти. Тут необходимо напомнить ему пословицу: «сошрагаисэн п'ест раз гаисэн. Маленькое прибавление «советская», «классовая» к слову власть глубоко и принципиально меняет природу власти. Милюков и диктатуре пролетариата приписывает все то, о чем мы упоминали выше, введенный в заблуждение тем, что мы также употребляем слово «власть» и прибавляем к нему определение «классовая». Разница заключается вот в чем: для буржуазной власти рабочие и крестьяне являются противниками и поэтому, чтобы удержаться, чтобы иметь возможность держать в повиновении эксплуатируемых и ограбляемых буржуазией крестьян и рабочих, власть эта должна их обманывать и ослаблять, чтобы усилить себя.

Когда же мы говорим, что власть наша классовая, то мы тем самым ясно и четко показываем природу власти. Затем мы совершенно определенно и твердо говорим, что крестьянство не противник рабочего класса и наоборот, что крестьянину вполне по дороге с рабочим классом, что путь у них общий и что они всегда должны быть друзьями, союзниками, а не противниками, как это хотелось бы Милюкову и вообще всей буржуазии. Вся ошибка наших врагов в неумении понять положение вещей в Союзе. Все их надежды на нашу гибель основаны на том, что они, привыкнув в прежние времена в России, а сейчас во всем свете, за исключением нашего Союза, восстанавливать крестьян против рабочих, учить и убеждать, что интересы их враждебны друг другу, хотя убедить, что наша программа и наша задача в отношении крестьянства остается как бы прежней ихней. Они хотят видеть нас говорящими о союзе, а делающими ограбление крестьян. Они нас судят по себе. В этом заключается ошибка наших врагов.

А истинное положение таково: рабочий класс, поддержанный многомиллионным крестьянством, взял власть в стране, которая была разорена, в которой, после экспроприации и национализации земли и промышленных предприятий, не осталось, во-первых, запаса производственных ценностей, накопленных буржуазией, во-вторых, ему не дали самому заняться воспроизводством этих ценностей, заставив его и союзное с ним крестьянство, утомленных 4-х летней империалистической войной, вести снова мучительнейшую гражданскую войну с собственной буржуазией, которой помогала англо-франко-американская буржуазия.

Эти две причины обусловили то, что наш социализм был «нищим» и «вшивым». По этим двум причинам его Каутский назвал азиатским. Борьба, которую

нам пришлось вести, закончилась успешно для нас, для территории, занимающей  $\frac{1}{8}$  часть света, но конечной цели—победы над буржуазией во всем мире—одним ударом нам достигнуть не удалось. Теоретически мыслилось, что мировая победа пролетариата над буржуазией возможна будет тогда, когда на одном полюсе общества скопится измученный, ограбленный, живущий в нищете и убожестве миллиардный пролетариат, а на другом полюсе соберется кучка буржуазии в несколько сот тысяч, владеющая, на правах частной собственности, как орудиями производства, так и производственными ценностями, выработанными руками пролетария.

Вот приблизительно та картина, в рамках которой должен был совершиться социалистический переворот и захват власти пролетариатом. Жизнь дала иную обстановку и иные условия и показала нам, что война между пролетариатом и буржуазией будет более длительной, чем война «алой и белой розы» или «30-летняя война». Эти войны, как говорит история, не представляли собою ежедневных непрерывных все время тянувшихся сражений. Там дни подлинных настоящих сражений, моменты непосредственных схваток были по времени эпизодами на фоне перегруппировок, маневров, переходов, дипломатических переговоров и тому подобных моментов, не составляющих непосредственного рукопашного боя.

То же самое можно сказать и про нашу борьбу, которая имеет ареной весь мир и конечной целью распространение нашей государственной и хозяйственной системы также на весь мир. Пускай враги пишут, что мы отреклись от коммунизма. Ну тогда чего же они кричат, раз мы делаем по-ихнему. Дело в том, что они-то прекрасно понимают всю фальшь своих криков, прекрасно понимают, что, борьба, которую нам приходится вести, сложна и трудна не столько потому, что у нас много врагов, сколько потому, что среди наших пролетарских и крестьянских масс, благодаря недостатку образования и знания, могут быть, как говорил тов. Ленин: «рецидивы мелко-буржуазной бесхарактерности, раздробленности, индивидуализма, переходов от увлечения к унынию».

Буржуазия, нам думается, прекрасно поняла и, пожалуй, даже усвоила то, чему учил товарищ Ленин. Усвоила, что для победы в борьбе необходимы союзники и что таковым союзником как для буржуазии, так и для пролетариата, является крестьянство, является мелкая буржуазия. Вся задача, как наша, так и буржуазии, заключается, чтоб привлечь на свою сторону этого союзника. Смысл Октябрьской революции, смысл нашей стратегии и тактики во все периоды нашей классовой войны с буржуазией до настоящих дней и есть честное товарищеское привлечение крестьянства на свою сторону и открытое провозглашение нашей классовой диктатуры, направленной для помощи крестьянству. Власть пролетариата нужна не для того, чтобы ограблять в свою пользу союзника, как это делала буржуазия, и как это она делает сейчас во всех странах, а для того, чтобы, наоборот, как это говорится в резолюции II Конгресса Коминтерна по аграрному вопросу, «воспитывать в промышленном пролетариате сознание необходимости жертв с его стороны, ради свержения буржуазии и уплочения пролетарской власти, ибо диктатура пролетариата означает как умение пролетариата организовать и повести за собой все трудящиеся и эксплуатируемые массы, так и умение авангарда идти для этой цели на максимальные жертвы и героизм».

Вот в сущности то отличие нашей диктатуры от диктатуры буржуазии. Вот почему мы открыто об'являем о том, что наша власть классовая и что мы осуществляем диктатуру. Вот почему буржуазия не посмеет открыто и всенародно назвать свою власть классовой, а свою диктатуру диктатурой. Никого она не сможет убедить (об этом свидетельствует политика крупных банкиров и капиталистов во всем мире), что хочет ограничить себя в получении прибылей и переложить тягость налогов с плеч малоимущих слоев на свои плечи.

Поэтому нашим друзьям из беспартийных и нашим некоторым товарищам, недоумевающим при поворотах нашей политики, не зачем приходить в уныние и плакаться о том, что мы отрекаемся. Идет война двух мощных классов. Война эта длительна и во время ее возможны всяческие маневренные действия, как отступательные, так и наступательные. Особенно странными многим кажутся наши отступательные маневры, которые мы проводим сейчас. Бурный рост нашей промышленности, укрепление нашего торгового аппарата и вообще всего нашего хозяйства, укрепление наших коммунистических позиций и влияние в ряде стран могут смутить и помешать правильному пониманию того отступательного маневра, который мы проделываем сейчас, несмотря на ряд благоприятных обстоятельств, говорящих, как будто, о необходимости наступления. Смущаться нечего. Так часто бывало в гражданской войне. Прекрасно и успешно разворачивается операция, противник отброшен, настроение в войсках победоносное, но в виду целого ряда разрушений в жел.-дор. транспорте и недостатка гужевого, командование чувствовало, что не удастся влить во время пополнение в поредевшие части, не удастся подать обмундирование, снабдить огнестрельными припасами и поэтому отдавало для сохранения инициативы и намечения места и времени, удобных и выгодных для нанесения окончательного удара, приказ об отходе. Это всегда вызывало в победно двигавшихся войсках злобу и даже разговоры об измене. Враг же, конечно, ликовал, и, сидя где-нибудь у Омска, в то время, как мы отступали от Ишима к Ялуторовскому, выполняя широко задуманный маневр, говорил о своем близком вступлении в Москву.

Рабочий класс всего мира ведет борьбу с буржуазным строем, чтобы уничтожить этот буржуазный строй, чтобы утвердить во всем мире коммунизм. Борьба эта имеет очень много форм. Главнейшие формы ее—экономическая, политическая и военная. Она, в свою очередь, в зависимости от места и времени, разбиваются на ряд мелких и крупных стычек в каждой из этих областей, при чем, как показывает опыт прошлого и настоящего, эти мелкие и крупные стычки пользуются оружием из всех трех форм.

Если империалистическая война, которая была, несмотря на свою грандиозность, ограничена в пространстве, знала периоды бурных наступлений и периоды долгого затишья, во время которого происходили починка, перегруппировка и даже временное очищение занятых во время бурного наступления позиций, чтобы в течение продолжительного срока позиционной борьбы подготовить новый удар на том или на другом участке фронта, то тем более должны быть такого рода смены наступательных и позиционных периодов в мировой войне пролетариата, которая пространственно разлита по всему миру, и в которой национальные отряды пролетариата имеют различную боевую подготовку, различную тактическую выучку, разнообразное воору-

жение, и часто не вполне подчиняются указаниям своего генерального штаба — Третьего Коммунистического Интернационала.

Цель, поставленная историей пролетариата, это — установление коммунистического строя. Коммунизм, как социальный строй, мыслим лишь после уничтожения классов и всех тех условий, которые создают в обществе классы. Отсюда вытекает ясно, что победа в одной стране еще не решает вопроса, ибо для того, чтобы уничтожить классы, надо уничтожить их во всем мире, во всех странах, и только тогда можно говорить о том, что мы начинаем строить коммунистический мир. Это самое важное, что должен понимать каждый: от рядового бойца до старшего командира, и от последнего до обозника. Этим сознанием должны быть проникнуты все входящие в ряды пролетарского войска. Если этого нет, то, в моменты побед на отдельных национальных участках, появятся преувеличенные представления о значении побед, излишняя радость и ненужная заносчивость и самоуверенность. В моменты маневренных отходов, вызываемых необходимостью подравнять фронт на данном национальном участке в силу обстановки на всем протяжении фронта, появляются ни на чем не основанные уныние, сомнение, разочарование и колебание, полезные только врагу.

Чтобы достигнуть коммунизма, надо уничтожить классы, но три основных класса в нашем обществе, буржуазия, мелкая буржуазия и пролетариат, «уничтожаются» по-разному. С буржуазией приходится, главным образом, бороться при помощи оружия. И, как показал опыт, непримиримую ее часть приходится уничтожать физически, действуя на остальную страхом и только незначительную часть придется «уничтожать» при помощи убеждения.

Мелкая буржуазия, как класс, уничтожится примером и убеждением, воспитанием и обучением, но только тогда, когда во всем мире или будет уничтожена, как класс, или отогнана от власти и от обладания на правах частной собственности орудиями общественного производства, крупная буржуазия. До этого времени у всего пролетариата и на отдельных национальных участках будет идти борьба на два фронта, и с крупной буржуазией и с мелкой буржуазией, которая, по выражению тов. Ленина: «своей повседневной, будничной, невидной, неувидимой, разлагающей деятельностью осуществляет те самые результаты, которые нужны буржуазии, которые реставрируют буржуазию».

По отношению к первой надолго главным способом «разговора» останется язык силы и только в последнем счете придется прибегнуть к убеждению. По отношению ко второй главной способ ее «уничтожения» будет способ убеждения, воспитания и медленная осторожная организаторская работа. И только в крайнем случае, когда колебания мелкой буржуазии будут использоваться или самой крупной буржуазией или ее агентами для возбуждения борьбы за восстановление власти капитала, придется прибегать к «убеждению» при помощи силы.

Сам пролетариат, когда основные предпосылки коммунистического строя будут завоеваны и утверждены, как класс, отмирает. Таким образом, чтобы правильно оценивать те или иные тактические движения всего пролетариата в целом или отдельных его отрядов, необходимо рассматривать их под углом зрения всего мирового фронта. Нужно ясно представить себе общую задачу и суметь для окончательной тактической и стратегической победы правильно

составить задачи для частных операций отдельных отрядов общего пролетарского фронта.

Главное же, надо помнить, что борьба пролетариата является насильственной и мирной, военной и хозяйственной, педагогической и администраторской, кровавой и бескровной. Все эти формы борьбы скорее не чередуются, не сменяют одна другую, а идут все время, сочетаясь друг с другом, перешитаясь одна с другой.

Нужна страшнейшая выдержка, невероятная гибкость, чтобы умело и разумно, не торопясь при победах, не впадая в уныние при поражениях, не разочаровываясь в моменты планомерных очищений позиций, проводить и комбинировать одновременно все эти формы, на взгляд противоречивые, на деле же разумно дополняющие друг друга. Говоря вообще, рабочему классу, а особенно его политической партии, надо быть глубоким тактиком и стратегом с железными нервами, с ясной головой, непреклонной волей и неукротимой, не поддающейся никаким колебаниям энергией, а главное, уметь применять диалектический метод при рассмотрении противоречиво развертывающихся положений пролетарской борьбы, уменья из-за частностей не терять представления о целом.

Основная цель—уничтожение классов и достижение коммунизма. Поле сражения—весь мир. Наиболее простой случай, когда во всем мире два главных генеральных штаба—Интернационал рабочих и Интернационал буржуазии—руководят своими войсками. Такое идеальное положение, в основе которого лежит полная сознательность пролетариата всего мира, его классовая обособленность, поголовная организованность и неподатливость даже в малейшей степени буржуазной идеологии дала бы и немедленную, почти бескровную победу пролетариата над крупной буржуазией. Но в результате этой победы наступил бы длительный процесс «уничтожения» мелко-буржуазной раздробленной стихии, выразившийся бы в перевоспитании, переубеждении и в длительной организаторской работе по отношению к мелкой буржуазии. Но пока такой картины нет. Пока власть взял в руки пролетариат только одной страны, и страны наиболее отсталой, с стомиллионной крестьянской массой, ведущей раздробленное индивидуалистическое мелкое хозяйство.

Пролетарская партия непосредственно не ставила себе задачей, как это видно из резолюции *Всероссийской Партийной большевистской Конференции*, состоявшейся в апреле 1917 года, немедленного осуществления социалистического преобразования. Резолюция по текущему моменту гласила следующее: «Пролетариат России, действующий в одной из самых отсталых стран Европы, среди массы мелкого крестьянского населения, не может задаваться целью немедленного осуществления социалистического преобразования».

Но вместе с тем резолюция дальше говорила о величайшей ошибке и полном переходе на сторону буржуазии, «если кто-либо отсюда сделает вывод о необходимости рабочему классу поддерживать буржуазию или ограничивать свою деятельность тем, что приемлемо для мелкой буржуазии и не будет раз'яснять народу неотложности ряда практически назревших шагов к социализму».

В сентябре, когда мы готовились взять власть, партия сделала попытку избежать кровопролития и предлагала меньшевикам и эсерам условия для мирного развития революции, 3-го сентября в статье «О компромиссах

т. Ленин писал: «Теперь наступил такой крутой и такой оригинальный поворот в русской революции, что мы можем, как партия, предложить добровольный компромисс,— правда, не буржуазии, нашему прямому и главному классовому врагу, а нашим ближайшим противникам—«главенствующим» мелкобуржуазно-демократическим партиям—эсерам и меньшевикам. Только во имя этого мирного развития революции—возможности крайне редкой в истории, возможности исключительно редкой,—только во имя ее большевики, сторонники всемирной революции, сторонники революционных методов, могут и должны, по моему мнению, идти на такой компромисс».

В течение сентября раза два или три предлагалось нашим противникам осуществить и обеспечить чрезвычайно редкую в истории возможность мирного и бескровного развития революции. Указывалось им, что массы пойдут за эсерами, меньшевиками и большевиками и что, таким образом, буржуазия не в состоянии будет поднять гражданскую войну, т. к. для этого у нее не будет масс, способных воевать и победить советы.

И соглашение это предлагалось не на основе социалистического переворота, а на проведении в жизнь тех мер, которые предотвратили бы катастрофу и голод. Большевики предлагали тогда осуществить союз городских рабочих с беднейшим крестьянством через немедленную передачу власти советам и обещали все сделать, чтобы этот мирный путь развития революции был обеспечен.

В своей брошюре «Грозящая катастрофа и как с ней бороться», т. Ленин писал о мерах, которые необходимо принять, и при осуществлении которых большевики поддерживали бы правительство из меньшевиков и эсеров.

1) Об'единение всех банков в один и государственный контроль над его операциями или национализация банков;

2) национализация синдикатов, т.-е. крупнейших монополистических союзов капиталистов (синдикаты сахарный, нефтяной, угольный, металлургический и т. д.);

3) отмена коммерческой тайны;

4) принудительное синдицирование (т.-е. принудительное об'единение в союзы) промышленников, торговцев и хозяев вообще;

5) принудительное об'единение населения в потребительные общества или поощрение такого об'единения и контроль за ними».

Далее об'яснялось, что национализация банков нельзя смешивать с конфискацией частных имуществ и указывалось, что тот, кто имел 15 миллионов, и после национализации банков будет иметь те же 15 миллионов, и что вся эта работа, не означая ни малейших изменений в отношении собственности, дает возможность действительного контроля. То же самое говорилось и в отношении остальных мер, а именно, что в них нет никаких моментов немедленного введения социализма и повторялось относительно синдицирования, что обсоюзование в синдикаты ни на йоту отношений собственности не изменяет, ни одной копейки ни у одного собственника не отнимает. Кроме того, говорилось, что буржуазная пресса только пугает мелких и средних хозяев, «будто социалисты вообще, большевики в особенности, хотят их экспроприировать». Такие утверждения являлись заведомо ложными, ибо даже при полном социалистическом перевороте экспроприировать мелких крестьян, как говорил т. Ленин, не хотят, не могут и не будут.

В брошюре «Удержат ли большевики государственную власть», помеченной 1 октября 1917 г., указывалось: «Не в конфискации имущества капиталистов будет гвоздь дела. Одной конфискацией ничего не сделаешь, ибо в ней нет элемента организации, учета и правильного распределения. Конфискацию мы легко заменим взиманием справедливого налога (хотя бы в Шингаревских ставках). Только бы исключить возможность какого-либо уклонения от подотчетности, сокрытия правды, обхода закона. А эту возможность устранил только рабочий контроль рабочего государства».

Таким образом из этих материалов наиболее боевого периода видно, что в сущности задачу, которую мы себе ставили, нельзя было назвать задачей немедленного социалистического переворота, а выражалась она, даже при нашей полной победе, лишь в завоевании, захвате некоторых основных позиций, являющихся предпосылками, предоставляющих большие возможности для успешной борьбы за социализм. Враги наши сознательно и некоторые из друзей бессознательно хотят обрисовать положение так, как будто мы во что бы то ни стало хотели, вопреки всяким предупреждениям и разумным доводам, произвести немедленный социалистический переворот. Всякий, кто ознакомится с литературой предоктябрьского периода, поймет и убедится, что этого не было. Наоборот, была даже попытка избежать кровопролития и добиться мирного развития революции.

Непримиримо и твердо мы добивались только конфискации, экспроприации помещичьей земельной собственности, не собираясь переворачивать и изменять иные разряды собственности. Все разговоры о том, что мы хотели экспроприировать собственников и на-завтра ввести социализм, неверны. Злоба наших врагов и горькое недоумение наших друзей, думающих, что мы от чего-то отреклись, что мы под напором каких-то непредусмотренных нами сил свертываем свои знамена, отказываемся от борьбы за коммунизм и обращаемся в какую-то партию, которая стремится удержать власть ради власти, не имея для этого ни почвы, ни основания.

То, что товарищ Ленин назвал военным коммунизмом, конечно, не было тем коммунизмом, который является нашей идеологией.

Если глубоко вдуматься, то это был тактический и стратегический маневр, благодаря которому в смысле хозяйственности и организации было многое «не коммунистично» разлажено и испорчено, но, благодаря тому, что это были коммунистические методы, хотя и примененные в стране, для коммунизма не созревшей и не подготовленной, задача военной обороны была тем не менее разрешена победоносно. Благодаря сопротивлению российской буржуазии, нежеланию ее работать под управлением Советской власти, благодаря обалдению интеллигенции, не пожелавшей вслед за капиталистами работать для крестьян и рабочих так же, как она работала для капиталистов, благодаря, наконец, блокаде и гражданской войне, страна наша обратилась в осажденную крепость и, вместо правильного развития советов, получилось свертывание этих органов, сужение их роли и значения по сравнению с тем, чем они должны были бы быть. В области же экономической пришлось далеко вынести вперед позиции и национализировать все предприятия, вплоть до самых мелких. Это было форсирование, не отвечающее и не согласованное с положением и обстановкой на других национальных участках мирового фронта, но неизбежное и вытекающее из положения на российском участке. Так невыгодно с точки

зрения всего хозяйства пришлось действовать, благодаря нежеланию буржуазии и интеллигенции работать, благодаря гражданской войне и пассивности пролетариата на других национальных участках.

Чтобы удержать позиции в  $\frac{1}{6}$  части всего мира, надо было при помощи пролетарской диктатуры двинуться быстро вперед по пути к коммунизму, пренебрегая в то же время, необходимым для всякого коммунистического движения, организаторским закреплением позиций.

Благодаря этому слишком далекому вынесению экономических позиций, правильному и необходимому в момент ожесточеннейшей гражданской войны, но подчиненному не столько задачам хозяйственного возрождения, сколько задачам военной обороны, пришлось на время не думать об интересах развития сельского хозяйства. Вследствие перехода промышленности на военные рельсы сократилось до минимума производство предметов широкого потребления и сельско-хозяйственных орудий, что в свою очередь сорвало правильный товарооборот города и деревни, а затем заставило прибегнуть к разорительной и разоряющей крестьянство принудительной разверстке, отбирая у крестьян, как говорится, все под метелку и не давая ему ничего взамен. Все это было маневрирование, вынесение вперед позиций на пути к коммунизму, не будь гражданской войны не необходимое, но, благодаря войне, ставшее неизбежным, с точки зрения нормально развертывающегося коммунизма неправильное (брали, но ничего взамен не давали, или, если давали, то чрезвычайно мало), с точки же зрения вооруженной борьбы—неизбежное. Так было во всех областях жизни. Так пришлось поступить тогда с кустарями и кооперацией. Это были маневренные действия, неизбежные в стране, которая была осажденной крепостью и, такова диалектика жизни, мерами, нецелесообразными с точки зрения хозяйственного развития, мы должны были вырвать победу из рук врагов, чтобы затем уже на иной основе применять меры целесообразные для развития хозяйства по пути к социалистическому его переустройству.

К сведению наших врагов, мы можем сказать, что не наша вина, а их беда в том, что промышленники и банкиры были лишены своей движимой и недвижимой собственности и потеряли свои политические права, которых никто не собирался их лишать. Мы достаточно ясно доказали это положение в отношении права собственности. Мы можем указать и по вопросу о лишении прав. В речи на 8 с'езде РКП (б), относительно партийной программы т. Ленин говорил: «Вопрос о лишении избирательных прав буржуазии мы никоим образом не рассматривали с абсолютной точки зрения, потому что теоретически представляется вполне допустимым, что диктатура пролетариата будет подавлять буржуазию на каждом шагу, но может не лишать ее избирательных прав... Если необходимо подавлять буржуазию, как класс, то лишать ее избирательных прав и равенства не необходимо... буржуазию до Октябрьской революции и после нее никто из советов не изгонял, буржуазия сама ушла из советов».

В своей брошюре «Пролетарская революция и ренегат Каутский» т. Ленин говорит: «Как я уже указывал, лишение буржуазии избирательных прав не составляет обязательного и необходимого признака диктатуры пролетариата. И в России большевики, задолго до Октября выставившие лозунг такой диктатуры, не говорили заранее о лишении эксплуататоров избирательных прав.

Эта составная часть диктатуры явилась на свет не по плану какой-либо партии, а выросла сама собой в ходе борьбы».

По вопросу о политических правах можно привести довольно убедительную и характерную картину. Уже шли бои с Красновым, с Деникиным, а мы спокойным образом разрешали выходить газетам наших врагов. В Москве, в Ленинграде выходили все газеты, выходили меньшевистские и эсеровские газеты. Одно это показывает, насколько добродушно относился победивший рабочий класс к своим врагам и насколько мирными тенденциями он был проникнут.

«Дело Народа», официальный орган эсеров, в своей редакционной передовой 21 сентября 1917 г. писало: «И тогда остается третья и последняя комбинация: власть обязана организовать та половина Совещания, которая принципиально защищала идею однородности ее. Скажем определенно: большевики будут обязаны формировать кабинет. И пусть они не делают бесполезных усилий скрыться за наскоро создаваемые теории о невозможности им взять власть. В то же время сторонники коалиции должны гарантировать им полную поддержку».

Как видно, здесь эсеры от имени сторонников коалиции обещали нам поддержку, но они этого не выполнили, когда мы взяли власть. Но в мае 1918 г. в «Деле Народа» было помещено обращение ЦК ПСР к англ., франц. и америк. правительствам с просьбой прислать войска для наведения порядка. В момент, когда выступали чехо-словаки, газеты наших врагов самым спокойным образом сеяли панику и разными мелкими и крупными уловками стремились натравить против нас население.

Мы можем напомнить, что в то время, когда левые эсеры в Москве обстреливали Кремль, газета левых эсеров в Ленинграде на следующий день вышла. Выходили газеты и меньшевиков. Кто помнит те времена, тот вспомнит, как мы терпеливо учили буржуазию, чтобы она перестала вести против нас травлю и борьбу.

Были закрыты газеты меньшевиков и эсеров, как агентов подлинной, настоящей буржуазии, как те шупальцы, которые запускались в рабоче-крестьянские массы. Буржуазия не вняла, не приняла к сведению, она была убеждена в том, что она победит. Пришлось в ночь на 4-ое августа 1918 г. пишущему эти строки издать постановление, как комиссару печати, о закрытии, впредь до нового распоряжения, всех выходивших в Ленинграде и Северной Области буржуазных газет: «Речи», «Современного Слова», «Вечернего Времени», «Петербургской газеты», «Вечерней Биржевки», «Петербургского Листка» и др. «День» и «Дело Народа» были закрыты раньше.

Итак, всем тем, кто кричит, что мы нарушили демократическую свободу, следует подумать над этим чрезвычайно поучительным явлением. В Москве буржуазные газеты были закрыты в середине июля, а в Ленинграде и во всей Северной Области буржуазные и так называемые социалистические газеты выходили до 3 августа 1918 года.

Все это показывает, насколько мирно был настроен пролетариат, все это показывает, что даже лишение права издавать газеты было осуществлено только тогда, когда почти 7½ месяцев рабочий класс, уже проводивший свою диктатуру, пытался мирно убедить буржуазию и меньшевиков с эсерами

в необходимости строить мир новых отношений, а не вести борьбу. И когда он через 7½ месяцев убедился, что слова не действуют, что те, кому он разрешает издавать газеты, по существу есть друзья, соглядатаи, агенты тех, которые в это время бились с ним в виде Самарской учредилки на Волге, в виде армии Краснова, Корнилова на юге, подготавливая англо-франко-американский десант в Архангельске и создавали армию Юденича в районе Нарвы, он поступил с ними, как с врагами, т.е. закрыл их газеты, но никого из них не арестовал, никого из них не тронул. Даже больше—в день закрытия всех газет были выпущены из тюрьмы арестованный Проппер и другие газетчики.

Буржуазия, не пожелавшая ограничиться потерей немногого, потеряла все.

Таким образом приведенных примеров, я думаю, вполне достаточно, чтобы показать, что все разговоры о нашем *вынужденном* отступлении, в каких бы то ни было областях, являются по меньшей мере странными. В свое время мы предлагали ряд мер, составлявших и обеспечивавших мирное и относительно безболезненное, действительное, а не на словах (в отличие от меньшевиков и эсеров, которые болтали, а на деле не хотели) продвижение к социализму. Все наши предложения были отвергнуты. На нас пошла война. В борьбе с врагом, победно разбивая его, мы захватили большое пространство, мы далеко выдвинулись вперед. По нашему стратегическому замыслу, в соответствии с развитием страны, было намечено довольно ограниченное продвижение и был указан не особенно далеко с точки зрения не только коммунизма, но и социализма, выдвинутый рубеж. Наши враги, несмотря на поддержку мировой буржуазии, оказались настолько слабыми, а напор масс проявился так непреодолимо, что мы захватили больше, чем поставили себе, как необходимое, и продвинулись значительно дальше того рубежа, который был намечен в начале борьбы.

Мы думали сохранить в неприкосновенности все эти захваченные позиции, ожидая близкого прихода к нам на помощь мирового пролетариата. Несмотря на революционное настроение и революционную готовность и решимость, у различных национальных отрядов пролетариата не оказалось такого крепкого и умелого генерального штаба, каким была наша партия для российского отряда. Не имея дисциплинированной и крепкой партии, эти отряды, разрозненно выступавшие, были разбиты своей буржуазией, и, таким образом, она, напуганная до смерти в периоды 1918—23 г., по-маленьку оправилась и, непосредственно не угрожаемая сейчас, чувствует себя стабилизовавшейся.

Отсутствие поддержки со стороны того или иного национального отряда мирового пролетариата и наличие стомиллионного, пропитанного мелко-собственническими инстинктами, союзника, побудило нас реально посмотреть на вещи и очистить ряд позиций, полезных, если бы в той или иной промышленной стране утвердилась Советская власть, но не выгодных, когда этого нет. Эта невыгодность не имела бы большого значения, если бы не наличие стомиллионного крестьянства, от которого мы очень и очень далеко отошли, если бы оставались на захваченных в пылу борьбы и не предполагавшихся к занятию и захвату по нашему стратегическому плану позициях.

Вот источники новой экономической политики и эти же побуждения являются источниками и наших теперешних решений, принятых на 14 партконференции и на съездах советов. Ликование наших врагов более чем прежде-

временно. Недоумение наших друзей более чем странно. Было бы правильно и то и другое, если бы мы отказались от чего-нибудь из того, что было намеченным т. Лениным в его программах-брошюрах: «Грядущая катастрофа и как бороться с нею» и «Удержат ли большевики государственную власть».

Но никто этого сказать не может, ибо, даже очистив ряд позиций и в 1921 г. и теперь, мы тем не менее занимаем значительно большее пространство и значительно большую часть территории врага, чем это предполагалось перед Октябрьским выступлением.

Меньшевики всех наций считают себя последователями Маркса и Энгельса, они клянутся, что их программой является Коммунистический Манифест, Посмотрим, что намечал Коммунистический Манифест в 1848 г. Там написано, что мерами, которые могут быть осуществлены, являются следующие:

- 1) экспроприация земельной собственности и обращение земельной ренты на покрытие государственных расходов;
- 2) высокий прогрессивный налог;
- 3) уничтожение права наследования;
- 4) конфискация имущества всех эмигрантов и бунтовщиков;
- 5) централизация кредита в руках государства посредством национального банка с государственным капиталом и исключительной монополией;
- 6) централизация средств передвижения в руках государства;
- 7) увеличение числа национальных фабрик, орудий производства, расчистка под пашню и улучшение качества земель по общему плану;
- 8) одинаковая для всех обязанность работать, организация промышленных армий особенно для земледелия;
- 9) соединение земледелия с промышленностью; содействие постепенному устранению различия между городом и деревней;
- 10) публичное бесплатное воспитание всех детей, устранение с фабричной работы детей в ее нынешней форме (1848 г.), соединение воспитания с материальным производством и т. д.

Германская социал-демократия, когда она была у власти, когда массы были готовы к революционному действию, даже не попыталась осуществить хоть один из этих пунктов. Наоборот, она даже оставила королям все их поместья, а Вильгельму платила миллионы за те виллы, которые государство брало себе.

Каждый же беспристрастный человек, внимательно прочитав эту выдержку из Коммунистического Манифеста, должен подтвердить, что мы более чем наполовину уже выполнили все эти требования. Это, несмотря на то, что мы — отсталая страна и что наша промышленность слабее развита, чем в большинстве европейских стран.

Итак подведем итоги. Российский отряд пролетариата под руководством коммунистической партии сумел заключить братский союз с крестьянством, наголову разбил свою буржуазию и отразил все попытки иностранной буржуазии повернуть колесо истории вспять. Он предлагал буржуазии добровольно уступить власть пролетариату на условиях экспроприации помещиков и ограничения хозяйственных прав буржуазии рабочим контролем, финансовых прав — правом контроля со стороны государственного банка. Он предла-

гал меньшевикам и эсерам отказаться от поддержки буржуазии и составить министерство, ответственное только перед советами, указывая, что таким образом обеспечивается мирный ход развития революции и исключается возможность гражданской войны.

Его предложения были отвергнуты, на него пошли войной. В результате экспроприрована была вся без исключения буржуазия, а не только ее земельный отряд. В результате руководители меньшевистской и эсеровской партий выпшвырнуты вон из пределов страны и влачат жалкое существование эмигрантских содержанок, они разоблачили себя в процессе гражданской войны, как помощники, агенты и вояки за интересы мировой буржуазии, доказавшие своим участием в гражданской войне, что они враги рабочего класса и защитники интересов помещиков и капиталистов.

В результате помещичьего землевладения больше нет. Остатки его выкорчевываются теперь. В результате в руках рабочего класса, на правах национализированной собственности, находятся фабрики, заводы, недра земли, железные дороги, речной транспорт, здания и служба связи.

В результате бывшие собственники, не только российские, но и иностранные, не пожелавшие чувствовать над собой рабочего контроля рабочего государства, после бесплодных попыток разрешить спор оружием, вынуждены согласиться работать или арендаторами, или управляющими на своих бывших предприятиях и лишены, как лица живущие на нетрудовой доход, избирательных прав, наравне с жандармами, священниками и сумасшедшими.

Ирония истории не случайно поставила их на одну доску с сумасшедшими. Только сумасшедшие могли не подчиниться тому, что требовали массы устами Ленина, ибо сумасшедшие только могли бороться против этого при помощи оружия, при помощи и поддержке призванной ими иностранной буржуазии.

В результате обещанные большевиками, в момент призыва к восстанию, хлеб, мир и свобода получены теперь трудящимися массами. Мир обеспечивает Красная армия. Хлеб, несмотря на ряд недородов, начинаем добывать все в большем и большем количестве, развертывая одновременно нашу промышленность. Наконец, расширена и будет расширяться все шире и шире деятельность советов, которая должна приучить широкие массы рабочих и крестьян обоего пола к управлению государством.

Как пример нового небывалого проявления взаимоотношений между классами, является политика по отношению к крестьянству. Вместо насилия над крестьянством, вместо стремления улучшить свое положение за его счет, пролетариат, который осуществляет диктатуру, т.-е. имеет всю полноту власти, не ведет себя так, как ведет буржуазия, осуществляющая свою диктатуру во всех странах мира. Стоит только посмотреть цифры сельско-хозяйственного налога, начиная с 1922—23 бюджетных лет. Вот они: 406.000.000 рублей, 322.000.000 руб., 335.000.000 р. и, наконец, на будущий 1925—26 год 280.000.000 р., при чем надо иметь в виду, что из этих 280.000.000 р.—100 миллионов останутся для волостного бюджета и будут обращены органами крестьянского низового управления на непосредственные нужды деревни.

Надо иметь в виду, что все это происходит при непрерывном росте валового дохода от сельского хозяйства, при все увеличивающейся его товарности.

Налог с крестьянства берется обратно пропорционально валовому и чистому доходу, получаемому в сельском хозяйстве.

Пусть укажут хотя бы одну страну, где это буржуазия сделала для крестьянства.

Необходимо отметить и следующий момент. Мы имеем 22.000.000 крестьянских хозяйств, плативших налог. И вот в наступающем бюджетном году 6.000.000 бедняцких хозяйств, которые платили в 1924—25 г. 20.000.000 р. налогу, совершенно освобождаются от всякого налога, 7.000.000 хозяйств, которые платили 78.000.000 р., уплатят 58.000.000,  $6\frac{2}{3}$  миллиона хозяйств, платившие 151 миллион р., уплатят 146 мил р., а  $2\frac{1}{3}$  миллиона хозяйств, платившие 91.000.000 р., должны будут уплатить 96 миллион рублей.

Вот цифры, которые лучше всяких фраз и разговоров доказывают, что открытая классовая диктатура рабочего класса не обманывает крестьянство, а на деле, на фактах, которые ни один враг не сможет опровергнуть, помогает ему.

Но этого мало. Последнее время происходит снижение цен на товары, произведенные фабрично-заводской промышленностью, происходит снижение себестоимости производства и накладных расходов. Среди рабочего класса его партией и профсоюзами проведена кампания поднятия производительности без повышения заработной платы. Пусть хотя бы в одной какой-либо стране правящий класс так бы ограничил себя, как ограничивает в пользу крестьянства правящий, открыто провозгласивший свою диктатуру рабочий класс.

Если ко всему этому прибавить национальную политику, проводимую Советской властью, то всякий увидит, как много с общечеловеческой точки зрения ценного и невиданного внес в мир рабочий класс, победивший пока что в одной стране.

Пугаться, когда он очищает те или иные позиции, нет смысла. Думать, что мы отрекаемся или отступаемся от борьбы за коммунизм и от мировой революции, будет ошибкой. Мы захватили, благодаря непреодолимому напору масс, много позиций, которых по плану первой атаки мы не собирались брать. Плацдарм, захваченный нами, достаточно велик для маневрирования и поэтому наши враги делают хорошую мину в плохой игре, когда ожидают своей близкой победы.

Приобрела устойчивость буржуазия, но стала устойчивой и крепкой неудержимо растущей страна, завоеванная рабочим классом. Война между буржуазией и пролетариатом в ее острых боевых военных формах в данный момент не стоит в порядке дня. Для того, чтобы в этой борьбе победа склонилась бы на нашу сторону, нужно, чтобы одни группы (зжиточные слои крестьянства и мелкая буржуазия городов) были бы нейтральны, другие слои (средняцкое и бедняцкое крестьянство) сочувствовали бы и помогали борьбе пролетариата, а сам пролетариат был бы готов к самой беззаветной и решительной борьбе за власть.

Современное положение—это подготовка тыла и поиск союзников. И мы и буржуазия хотим привлечь на свою сторону крестьянство Европы и Америки и угнетенные нации колоний. В том, на чьей стороне будут эти силы, заключается загадка успеха и залог будущей победы.

То, что сегодня мы говорим, что буржуазию не сломить, т. к. не весь пролетариат, а только его авангард, готов к бою, и то, что не выбрали позиций крестьяне и угнетенные нации колоний, не значит, что мы отказываемся сломить буржуазию завтра. Нет, это вопрос времени, вопрос приобретения союзников, подготовки тыла и группировки сил.

Н. КУЗЬМИН.

# Новые завоевания медицины.

Проф. *О. И. Бронштейн.*

**Э**то заглавие естественно рождает в умах читателей, не имеющих медицинской подготовки, представление о чудесных исцелениях с помощью смелых операций, вновь изобретенных лечебных сывороток, неизвестных ранее лекарственных веществ. И это, повторяем, вполне естественно, ибо с глубокой древности и до настоящего времени понятие «медицина», как наука, неизменно отождествлялось с понятием о медицине, как искусстве лечения больных. А, между тем, понятия эти вовсе не всегда покрывают друг друга целиком.

Прежде всего, медицина представляет собою собрание множества наук, из которых лишь известная часть занимается вопросом о способах лечения болезней, остальная же (и значительно большая) выясняет причины возникновения их, законы и механизм их протекания, условия для того или иного заключительного акта—смерти, либо выздоровления. Мало того, сюда же, в область медицины приходится отнести науки, трактующие вовсе не о больном организме, а о здоровом человеке: его строении (анатомия, гистология), отравлениях (физиология), протекающих в нем нормальных процессах физико-химических, биологических и т. д. Если вспомним еще о множестве наук, т. наз. естественных, крайне близких к медицинским по самому существу своему (напр., бактериология), а также социологических, родственных им по смежности (напр. гигиена, психология), то увидим, что и в самом деле медицина лечебная—понятие, несравненно более узкое, нежели медицина вообще и, следовательно, под завоеваниями медицины можно и должно понимать открытия в области, даже отдаленной от болезней. Так, напр., всякому, читающему хотя бы одни ежедневные газеты, не говоря уже о т. наз. толстых журналах, наверное примелькался термин «омоложение», и всякий с ним связывает вполне точное и ясное представление об устранении тяжелых явлений преждевременной старости при помощи небольшой хирургической операции. Однако старость ведь не болезнь, по крайней мере, старость естественная, состоящая в постепенном увядании органов и тканей—вплоть до окончательного прекращения их жизненных функций. Но даже и это «физиологическое» одряхление организма может быть приостановлено, а в удачных случаях даже получается настоящее возрождение сил и способностей, казалось, навсегда утраченных состарившимся телом человека либо животного. Мы полагаем, что эти,—поистине блестящие,—новые завоевания медицины, т.-е. операции проф. *Штей-*

наша в Вене и д-ра С. Воронова в Париже, а также довольно многочисленных их последователей за границей и у нас, действительно, хорошо знакомы читателям, и потому дольше оставаться на омолаживании не станем. То же, пожалуй, нужно сказать и о методе т. наз. переживания органов, открытом и разработанном несколько лет назад недавно умершим русским ученым В. П. Кравковым. Года 4 тому назад все русские (а также иностранные) журналы посвящали не мало страниц описанию его опытов. Кравков доказал, что отдельные органы, как печень, сердце, почки и др., вынутые из тела животного вскоре после его смерти и сохраняемые при известных условиях, могут вести себя весьма продолжительное время (до нескольких дней), как живые, т. е. сердце будет сокращаться, почки выделять мочу, печень вырабатывать желчь. Правда, еще ранее Кравкова французский хирург Каррель, работающий в Америке в Инст. Рокфеллера, уже ставил с успехом опыты культивирования клеток, тканей и переживания отдельных органов, однако только Кравкову удалось сохранить отрезанным кроличьим ушам, ампутированным человеческим пальцам способность чрезвычайно долго (целыми неделями и месяцами) реагировать на внешние раздражения сокращением, либо расширением сосудов и т. п.

Метод Кравкова, конечно, не воскрешает утративших жизнь организмов, ни даже отдельных органов, но, поддерживая некоторые их биологические свойства, открывает обширное поле для всевозможных научных экспериментов, почему теперь всюду и работают «по Кравкову». Если, скажем, ранее для изучения влияния на организм какого-либо лекарственного средства требовался опыт на дорогом стоящем и сложном целом животном, то сейчас то же самое можно несравненно проще и точнее проделать на отрезанном кроличьем ухе, на вырезанной кишечной петле, даже не лишая при этом животного жизни. Громадное значение опытов с переживающими органами и частями тела, равно как и с омолаживанием людей и животных, настолько еще мало оценено сейчас самими учеными, занимающимися этими новыми научными завоеваниями, что в настоящий момент даже нельзя пока предвидеть возможные результаты и приложение их к жизни. И уж, конечно, плодами этих великих открытий воспользуется прежде всего медицина как для изучения многих, темных доселе, вопросов биологии, так и для лечения болезней.

Бактериология представляет собою науку, поступательное движение которой за последние два—четыре десятилетия особенно обогащало медицину во всех ее отраслях необыкновенно крупными достижениями. Стоит только вспомнить открытие многих болезнетворных микробов, — настоящие перевороты в гигиене, хирургии, акушерстве, произведенные одним этим фактом. А затем введение в медицинский обиход новых, т. наз. специфических, методов лечения заразных болезней сыворотками и предохранительных прививок против них. Это поступательное движение бактериологии не приостановилось и по сие время; как раз годы начала нашего века и особенно империалистической войны были периодом наиболее напряженного развития этой науки и ее приложений к практической медицине. Правда, за это время не было открыто много новых, до того неизвестных возбудителей: и по сегодняшний день мы еще с точностью не знаем микробов таких распространенных эпидемических заболеваний, как скарлатина, корь, сыпной тиф и нек. др. Но усиленная работа в этом направлении, разумеется, не прекращается в лабораториях всех стран мира, и именно последний год очень настойчиво дебатировался в специальной

прессе вопрос о признании за т. наз. диплококками некоторых итальянских ученых (Карониа, Сидони и др.) права на звание специфических возбудителей скарлатины и кори. Виновник сыпняка также тщетно, покамест, разыскивается многими учеными; однако общее мнение начинает, повидимому, склоняться в пользу передачи этой, вряд ли почетной, роли особому паразиту (скорее животному из простейших, нежели растительному микроорганизму), названному Риккетсией в честь ученого Риккетса. Его изучению посвящено не мало трудов и русскими исследователями, ибо у нас опустошительные эпидемии сыпняка доставили много материала для научных изысканий.

Из твердо установленных и вновь открытых болезнетворных микробов нужно назвать особых спирохэт (винтообразной, спиральной формы), вызывающих желтую лихорадку, эпидемическую желтуху, а также «новую» болезнь — Волынскую или пятидневную лихорадку. Эта болезнь относится к разряду тех, которые стали особенно часто встречаться во время войны и именно среди войск, так что их поневоле начали изучать с помощью точных лабораторных методов. Возможно, что это болезни вовсе не новые, да и вообще не решен еще вопрос, возможно ли возникновение в наше время в полном смысле «новых» инфекций, т. е. никогда доселе не поражавших человека; но война как раз создала условия для их массовых вспышек так же, как и для массового распространения «старых» эпидемий, напр., тифов всякого рода, холеры. Подобного же рода болезнь за последние годы приобрела себе печальную известность под названием «сонной». Научное ее название летаргический или эпидемический энцефалит, т. е. поражение вещества мозга, происхождения заразного, при чем собственно летаргия или наклонность к непреодолимой спячке возникает лишь в самых тяжелых случаях и большею частью близко к смертельному исходу. Последний, впрочем, не обязателен—вовсе нередко и выздоровление, хотя с тяжелыми последовательными поражениями нервной системы. Возбудителя и этой болезни мы не знаем с точностью, почему пока невозможны ни предохранительные, ни лечебные прививки.

Если, следовательно, борьба с некоторыми заразными болезнями еще не под-силу медицине из-за неизвестности возбудителей последних, то за то со многими, хорошо известными, она справляется чрезвычайно успешно. Здесь опять-таки многому мы научились за время войны. Как известно, все воюющие страны подвергали своих солдат обязательным предохранительным прививкам против, по меньшей мере, двух, а то и более (4-х), из губительнейших эпидемий—азиатской холеры и брюшного тифа. К этому кое-где, особенно в начале, присоединяли еще прививки против т. наз. паратифозных заболеваний, в других местах—против дизентерии и т. д. Словом, в конечном итоге привитыми были все действующие армии целиком и значительная часть гражданского населения в наиболее пораженных этими эпидемиями местах. И это, конечно, сказалось положительными результатами: крупного развития именно эти эпидемии не получили нигде (если была массовая заболеваемость, то цифры смертности были крайне низкими) и даже после окончания войн они далеко уступают другим, от которых прививок не существует. Вдобавок, массовый спрос на эти прививки вызвал и усовершенствование их техники: ныне уже, вместо повторных впрыскиваний под кожу т. наз. вакцины, т. е. убитых нагретванием соответствующих микробов (холерных, брюшнотифозных и др.), их дают внутрь в особых капсулах. Это и не сопровождается неприятными

сопутствующими явлениями, вроде лихорадки, боли на месте укола и т. п., и даже вернее дает невосприимчивость к болезни. Предложен такой способ русским ученым *Безредкой*, издавна работающим в Парижском Пастеровском Институте, где он был многолетним сотрудником покойного И. И. Мечникова. Чрезвычайное, дотоле небывалое, распространение предохранительных прививок за эти годы, естественно, имело своим следствием и более тщательное их изучение со стороны врачей, и большую привычку к ним со стороны народонаселения. И это все дало уже свои плоды. Оживившийся интерес к этому способу борьбы с заразами вызвал к жизни попытки перенести его и в другие области. Так, по отношению к дифтерии в настоящее время с успехом проводят массовые прививки детей, преимущественно школьного возраста. Здесь, правда, иной подход к делу в смысле лабораторно-техническом, но принцип в общем тот же. Многие тысячи ребят предохранены таким образом от дифтерии, особенно в Америке, хотя метод этот впервые был предложен известным ученым бактериологом *Берингом* (изобретателем противодифтерийной сыворотки) и разработан венским врачом *Шиком*. И у нас в СССР уже производятся не один год опыты с Шиковскими прививками, но пока еще не в широком масштабе. Сильно повысившиеся в последнее время заболеваемость и смертность от другого «детского бича» — скарлатины — заставили мысль ученых работать усиленно над вопросом о верном способе предохранения также и от этой болезни. Нужно сказать, что еще в начале настоящего столетия известный московский бактериолог *Г. Н. Габричевский* (ныне уже покойный) не без успеха применял впрыскивание здоровым детям вакцины, т.-е. убитых развонок стрептококка — микроба, почти всегда сопутствующего скарлатине и дающего тяжелые осложнения при этой болезни. Прививки Габричевского, несомненно, давали многим детям известную невосприимчивость к заражению, но они были почти всеми у нас заброшены — главным образом потому, что не было (и сейчас нет) достаточных оснований считать именно стрептококк специфическим скарлатинозным микроорганизмом. И тем не менее, история и здесь обратилась вспять: года два назад американские ученые, супруги *Гледис* предложили вновь те же прививки стрептококковых культур, правда, несколько иначе изготовляемых; это обратило на себя всеобщее внимание и хотя противоскарлатинная вакцинация еще не вышла из рамок опыта, но явный успех от нее видели во многих местах. Работают над этим вопросом и у нас в Москве.

Стремление перенести центр тяжести борьбы с заразными болезнями именно в сторону предохранительной вакцинации сказывается громадным увеличением числа работ по этой части во всех областях, при чем придается большое значение и лечебному действию такого рода вакцин. Так, хорошие результаты получаются при лечении вакцинами гонорреи, дизентерии, детских поносов, заражений т. наз. «кишечным бациллом», раневых инфекций, даже паразитарно-грибковых болезней волос и кожи и др. И если в настоящее время мы далеко еще не все болезни ввели даже в рамки лабораторного опыта в этом отношении, то причиною этому главным образом затруднения технического свойства. Но вот, сравнительно весьма недавно, уже упомянутый нами проф. *А. М. Безредка* разработал новый способ получения и применения особых микробных вакцин (он их назвал «виринами»). Особенность Безредковского подхода к делу вакцинации сводится к двум принципам: специфическая роль кожи в процессе иммунизации организма и пользование фильтрами культур, содержащими

растворенные яды микробов, но не тела их. Уже в прежних своих опытах с сибирской язвой Безредка доказал, что заражение животных культурами сибирязвенного бацилла происходит исключительно через кожу: если ввести весьма восприимчивому кролику или морской свинке огромную дозу ядовитых палочек сибирки, минуя кожу (прямо подкожно или же в кровь и т. п.),—животное не заболит. Но стоит лишь немного той же разводки втереть животному в царапину на коже—оно неминуемо погибнет. Отсюда вывод, что кожа, будучи «воротами» инфекции по преимуществу, должна быть и воротами иммунитета. Поэтому *Безредка* и вакцинирует через кожу, прикладывая к ней компрессы из микробных фильтратов. Результаты этого лечения оказались весьма благоприятными при всякого рода страданиях, вызванных т. наз. гноевыми кокками (стафилококком, стрептококком и т. д.). Новый метод ныне еще только находится в периоде испытания в руках самого автора и хирургов, особенно французских. Можно рассчитывать, что он перейдет в практику, где получит широкое распространение и при разнообразных других заболеваниях.

Словом, мы видим, что вакцинация в том или ином виде, как метод предохранительный и лечебный, находится сейчас в центре внимания. Неудивительно поэтому, что время от времени возникают разные мысли и предположения в этой сфере, не вполне или даже вовсе не оправдывающиеся потом на практике: стремление лечить и излечивать всегда опережает медленную и выдержанную научную разработку вопроса. Так, с разных сторон пытаются подойти к специфическому лечению туберкулеза и предохранению от него путем тех же вакцин. Путь этот не нов: именно для туберкулеза сам *Кох* предложил свой туберкулин—экстракт из тел Коховского бацилла, т.-е. в сущности именно вакцину. И туберкулином уже давно пользуются врачи, как для лечения, так и для распознавания болезни: больные даже с ничтожными туберкулезными очагами где бы то ни было в организме реагируют на впрыскивание либо втирание в кожу туберкулина (в самых минимальных дозах) повышением температуры, накожным пузырьком и т. п. В то же время не прекращаются попытки найти безвредную и точно действующую вакцину как для лечения, так и для предохранения от туберкулеза. В этом последнем отношении особенно соблазнительным для бактериологов всегда был пример оспы. Так, прививая ребенку в кожу живой вирус коровьей оспы, мы наверняка (лет на 7—10) предохраняем его от заражения оспой натуральной, человеческой. В сущности, другого такого примера мы покамест еще и не имеем в медицине. Обидно современному ученому бактериологу сознавать, что этот совершеннейший метод вот уже более сотни лет назад изобретен английским врачом *Дженнером*, да и ранее его собственно грубо-практически применялся шотландскими доильщицами коров, а вот мы бьемся тщетно над созданием чего-либо в этом роде. По разным причинам можно бы думать, что как раз туберкулез может дать аналогичные условия. Поэтому пробовали уже здесь так сказать *Дженнеровский* подход. Лет 15 назад сильно нашумел германский ученый *Фридман* своими прививками человеку культур черепашьего туберкулеза, и если его метод не выдержал объективной критики, то это едва ли благодаря принципиальным обстоятельствам. Подобный принцип только в прошлом году опять всплыл в работах известного французского бактериолога *Кальметта*. Он со своими учениками стал прививать новорожденным теля-

там, а потом и ребятам особенную разводку бацилла бычьего туберкулеза, которая за много лет утратила всякую ядовитость, но сохранила способность давать невосприимчивость. Ее прививают два—три раза подряд путем проглатывания капсул с живой культурой. *Кальметт* настаивает именно на том, что предохранительные прививки эти должны делаться непременно в первые месяцы и даже недели после рождения младенца на свет, когда он еще не успел заразиться от родных и окружающих настоящим туберкулезом, который либо очень скоро сведет его в могилу, либо уже не оставит его во всю последующую жизнь, как это мы наблюдаем сплошь и рядом почти у всех людей. Как ни необычными и даже рискованными на первый взгляд представляются нам эти рассуждения *Кальметта*, однако и высокая авторитетность этого ученого в вопросах туберкулеза, и очевидность его экспериментов, а главное—уже довольно многочисленные прививки, сделанные французскими медиками,—все это говорит, во-первых, за безвредность нового метода, а, во-вторых, за его действительность. Конечно, должны пройти еще долгие годы, пока мы не убедимся окончательно, действительно ли мы вступили в новую эру борьбы с этим бичем человечества по старому Дженнеровскому принципу оспопрививания.

Легко уловить, что все только что описанные новые методы лечения и предохранения от заразных болезней, подобно всем ранее бывшим, построены на принципе специфичности. Любая вакцина и всякая сыворотка действуют исключительно против того болезнетворного микроба (или его яда), против которого и с помощью которого они изготовлены. Так, например, противодифтерийная сыворотка, приготовляемая из крови лошадей, подвергнутых повторным впрыскиваниям дифтерийного токсина, может лечить только эту болезнь; холерная вакцина может предохранять только от холеры, но ни от какой другой болезни и т. д. и т. д. Словом, принцип строгой специфичности проходит красной нитью через все учение об иммунитете и приложение его в медицине. Однако, опять-таки последние годы и в этот вопрос внесли не мало нового: принцип специфичности пошатнулся и серьезно. Оказывается; возможно действовать на определенные болезненные процессы и их возбудителей вовсе не специфически, а как раз наоборот—универсально, если можно так выразиться. Если, скажем, впрыскивать под кожу больному человеку или животному такие безразличные (и, конечно, уже совершенно неспецифические) вещества, как раствор белка, сыворотку разных нормальных животных, молоко и т. п., то заметим странное явление: во-первых, организм на это введение чужеродного белка будет отвечать довольно высокой лихорадочной температурой и кое-какими легкими местными явлениями вроде боли, опухоли на месте укола и т. п.; во-вторых, все это пройдет быстро, но не бесследно—болезненный процесс пойдет на улучшение, начнет рассасываться. Так родилась новая отрасль медицины—протеинотерапия, лечение протеиновыми или белковыми веществами. Мы еще не знаем наверно, в чем собственно заключается механизм действия этих чужеродных белков? Большинство склоняется к толкованию *Вейсгардта*, по которому в больном теле под влиянием протеинотерапии происходит «активирование» протоплазмы, т. е. возбуждение клеток организма к борьбе с болезнетворным началом. Как бы то ни было, сейчас увлечение этим новым методом в полном разгаре. Лечат главным образом впрыскиваниями коровьего молока (стерилизованного, разумеется, кипячением)

и всяческих молочных препаратов—казеина, аолана и пр. Белка здесь много и он в самой безвредной и активной форме. Лечат по преимуществу такие поражения, которые тянутся уже довольно долго, не уступая другим способам лечения—всякие застарелые нарывы, воспаления, опухоли. Но и острые, бурные заболевания вроде, напр., гонорреи—неожиданно быстро уступают лактотерапии. Нет сомнения, волна увлечения схлынет,—так всегда бывало в истории медицины, это уже замечается и сейчас,—но все же неспецифическая терапия чужеродными индифферентными белками останется в ряду прочих весьма действительных методов. Интересно, что теоретически целебное действие на большой организм многих терапевтических приемов (особенно физических методов лечения) можно свести на ту же протеинотерапию, но уже продуктами распада собственных белков организма. Так будто бы влияют и лучи Рентгена, и электричество, и свет и водолечение. Возможно, что суть дела во всех этих воздействиях заключается в активировании клеточной протоплазмы, благодаря под'ему температуры, как реакции организма, и именно эта реакция и является благодетельной. Отсюда шаг к вызыванию сильной температурной реакции другими агентами, уже не столь безопасными, даже болезнетворными микробами. Таково лечение прогрессивного паралича прививкою малярии. Оно еще тридцать лет тому назад было предложено немецким врачом *Вагнером-фон-Яурезгом* на основании эмпирических наблюдений над улучшением процесса у паралитиков, случайно заразившихся болотной лихорадкой. Но, лишь начиная с 1917 г., этот метод стал применяться шире и увереннее, базируясь главным образом на вышеприведенных рассуждениях. Теперь уже смело впрыскивают кровь от больного малярией, содержащую т. наз. плазмодии-паразиты, больному тяжелой формой прогрессивного паралича (последствие сифилиса), вызывают у него высокую лихорадку с повторными приступами и обрывают последние в любой момент по желанию хинином.

Таким путем весьма нередко удается приостановить разрушительное действие сифилитического яда на мозг больного и даже вернуть ему его утраченную работоспособность, иной раз на значительный промежуток времени; при первой же угрозе возврата—вновь привить малярию и тем опять задержать ход общего паралича. Итак,—клин клином, одна болезнь лечится другой. Эти блестящие (хотя и не всегда благополучно оканчивающиеся!) достижения ничем доселе не могли быть получены: при прогрессивном параличе как раз оказываются бессильными даже новейшие могучие антилугицические средства, как сальварсан и его многочисленные производные. Между прочим, и в этой области недавние годы принесли нам необыкновенные успехи.

Как известно, сальварсан в его первоначальном виде («рлиховские «606» и «914») уже перестал удовлетворять специалистов по этой части и своими нежелательными побочными воздействиями, и далеко недостаточным терапевтическим эффектом. Его стали перерабатывать, улучшать, изменять, заменять. Очень выгодной заменой мышьяка (ведь сальварсан—мышьяковистое соединение) оказался висмут, который вдобавок и менее ядовит. Сейчас уже медицина располагает несколькими висмутовыми препаратами для лечения сифилиса, выдающимися по силе действия. Но особенный интерес вызван все же мышьяковым препаратом, т. наз. стоварсолом, который к тому же может влиять предохранительным образом и даже при приеме внутрь. Это открывает обширные горизонты в данной области.

Мы, однако, чересчур вдались в область медицины лечебной и предохранительной и преимущественно заразных и внутренних болезней. Не следует забывать еще об огромной сфере хирургии со всеми ее разветвлениями. Здесь опять-таки минувший военный период внес не мало нового, но интересного, пожалуй, только для специалистов по чисто-техническим достижениям. Достаточно сказать, что в настоящее время для хирурга в полном смысле слова не существует недостижимых, запретных областей. Он так же свободно оперирует в мозгу, в сердце, в легких, как на костях и мышцах конечностей. Сейчас уже в сущности стерлись границы между собственно хирургией в прежнем смысле, т.-е. лечением наружных заболеваний оперативным путем, и прочими областями медицины: за нож берутся, в случае необходимости, и сифилидолог, и невропатолог, и педиатр с терапевтом. За то и настоящему хирургу стали подведомственны не только грубые внешние проявления болезней, где нужно ампутировать лишнее, отсекают вредное и т. п. Хирургическим путем ныне пытаются лечить заболевания характера чисто-функционального: при падучей болезни делают операции на веществе головного мозга, при сердечной жабе—иссекают особые нервные стволы и тем прекращают мучительные и опасные для жизни припадки, не говоря уже о всевозможных операциях пересадок тканей и целых органов, граничащих прямо с чудесами, но пока все еще не вышедших за пределы клинических экспериментов. Следует упомянуть также и о недавних сообщениях Ленинградского проф. *Молоткова*, которому удалось с помощью иссечения трофических нервов, идущих к опухолям, прекратить питание последних и тем остановить их рост. За недостатком места мы решительно не в состоянии не только подробно останавливаться здесь на деталях, но даже хотя бы бегло коснуться всех решительно завоеваний медицины за последнее время и вынуждены ограничиваться во многих отношениях лишь кратким перечнем их, а кое-где даже прямо обойти молчанием. Есть, напр., такая обширная часть медицины, как учение об обмене веществ и вытекающий отсюда вопрос о питании, а также и о болезнях, связанных со всем этим. Научная сторона этих вопросов была хорошо подготовлена трудами главным образом русских ученых (знаменитых физиологов *Н. П. Павлова*, *В. Я. Данилевского* и др.), затем многое было подвергнуто пересмотру и переоценке в связи с недоеданием и голодовками колоссальных размеров во время войны империалистической и гражданских. Много нового внесено сюда американскими и английскими работниками. Сейчас эта область, кратко говоря, представляется в таком виде. Для нормального развития организма и поддержания его на высоте здоровья и работоспособности необходим, разумеется, достаточный приток давно уже известных питательных веществ (белков, углеводов, жиров). Но этим одним дело не ограничивается. Эти вещества должны быть еще непременно «полноценными», т.-е. заключать в себе целиком все химические составные факторы. Отсутствие какого-либо из них сказывается на организме иной раз самым неожиданным образом: то нарушается функция нервной системы (получаются полупараличи, расстройства движения и т. п.), то кожи (появляются нарывы, облысения волосистых частей, ломкость ногтей и пр.), то органов, заведующих обменом. Особенно ярко это проявлялось среди нашего населения в недавно минувшую пору хозяйственной разрухи и стихийных бедствий: врачи имели случаи для наблюдения, никогда до того не встречавшиеся. Вместе с тем вполне выяснилась уже роль витаминов—совершенно

незаменимых для живого организма составных частей, которые хотя и содержатся в пище в ничтожных количествах, но изъятие которых ведет к тяжелым страданиям, заканчивающимся гибелью (авитаминозы). Наряду с витаминами стоят и минеральные соли. Ранее их считали абсолютно несущественными ни качественно, ни тем более количественно; ныне же доказано, что роль их в экономии организма громадна и поныне даже еще не вполне оценена. Натрий, калий, кальций, магний и нек. др. предназначены в качестве своего рода катализаторов для стимулирования нервной и мышечной системы, они служат, если можно так выразиться, динамическим скелетом, на базе которого разыгрываются биологические функции коллоидальных комплексов. Уменьшение или нарушение пропорций этих скудных количественно минеральных элементов влечет за собою приостановку деятельности таких важных для жизни органов, как сердце, мозг. Вообще говоря, лишь в недавнее время физиология, а за нею и патология, стали вновь сосредоточивать свое внимание на организме в целом, как на единой биологической системе (ранее этот взгляд затушевывался выдвиганием на первый план деятельности клеток, как самодовлеющих единиц); стало особенно отчетливо выявляться соотношение между собою отдельных систем и органов. Регулирование этой т. наз. корреляции производится особыми веществами, в роде ферментов, гормонами, которые в свою очередь вырабатываются целой сложной системой желез внутренней секреции или эндокринной системой. К железам эндокринным относятся не только те, что не имеют выводных протоков, как щитовидная, околопочечная и др. (как полагали ранее), но и выделяющие свой секрет наружу и одновременно продуцирующие гормоны для всасывания в общую экономию организма (таковы железы семенные с их «пубертатной» частью, столь прославившейся благодаря опытам Штейнаха, поджелудочная с ее инсулином и др.). Теперь уже возникла целая и обширная научная дисциплина — эндокринология. Она изучает все те явления жизни, которые связаны с физиологией и патологией желез внутренней секреции. И оказывается, в конце концов, что они доминируют над всем, преимущественно же заведуют областями растительной жизни (явлениями роста, усвоения и разусвоения) и нервно-психической сферы. Не умея пока еще добывать гормоны в чистом виде, медицина пользуется для лечения разных, связанных с эндокринными железами, болезней частями или вытяжками этих самых желез. Органотерапия, или опотерапия, была известна уже давно; лечение органами применялось всеми народами с глубокой древности, но лишь теперь мы стоим на правильной точке зрения и в этом отношении. Всего четыре года назад в этой области сделано весьма важное открытие американскими врачами *Бантингом и Вестом*: они получили из поджелудочной железы т. наз. инсулин, оказывающий прекрасное лечебное действие при сахарной болезни.

Мы не кончили бы, если бы желали развернуть перед читателем действительно всю картину новых завоеваний медицины во всех ее отраслях. Да это было бы и невозможно уже по одному тому, что нельзя ныне быть энциклопедистом, охвату которого доступны все разветвления непомерно дифференцировавшихся медицинских дисциплин. Нельзя, однако, остановиться на сказанном, не указав на ту перестройку всего здания, которое совершается в деле здравоохранения в нашем Союзе. Материалистический подход с одной стороны, позволяющий решительным образом порвать с рутинной и академической схо-

ластикой отживших времен для свободного развития и воплощения научных идей. Новый (и рациональный!) взгляд на медицину не как на искусство лечения болезней, но как на научную базу для оздоровления жизни во всех ее проявлениях и условиях. Пристальное с этой целью изучение условий труда и быта населения страны с целью устранения всяческих (профессиональных, как и многих иных) вредностей и вредителей. Создание, наконец, такого экономического и социального строя, при котором мыслима была бы идеальная евгеника (улучшение расы), как и идеальный ортобиоз в смысле Мечникова (безболезненная жизнь с естественным исходом в глубокой старости).

Вот основные вехи новой советской медицины, вполне заслуживающей название общественной.

*О. И. БРОНШТЕЙН.*

---

# Современная французская литература.

*Анри Барбюс.*

**О**чень не легко говорить о современной французской литературе и очень трудно ее охарактеризовать, так как она [поражает одновременно и чрезвычайным обилием произведений, и полным отсутствием внутренней связи и единства.

Первая характерная черта, выступающая при общем обзоре,—это как раз такой избыток бьющего через край, не уместящегося ни в какие рамки литературного богатства. Можно смело сказать, что этого рода перепроизводство прежде всего служит доказательством не только утонченности, но и упадочности и одряхления: никогда еще, ни в один период французской истории, не появлялось такой массы литературных произведений. Среди всей этой груды книг некоторые отмечены талантом, но, как мы увидим ниже, талантом, растраченным впустую.

При изучении любого литературного движения необходимо,—во имя ясности и внутренней ценности исследования,—проводить различие между формой и содержанием.

Форма—составная, неотъемлемая часть произведения искусства. Она есть та оправа, в которую замыкаются мысль и чувство, находящие себе выражение в данном произведении: именно форма придает ему значимость, служит залогом его художественной устойчивости.

Между формой или «стилем» художественного произведения и его идеологическим или драматическим содержанием всегда существует какое-то заметное соответствие: по крайней мере, до сих пор так всегда было. Всякий раз, как полоса художественного расцвета создает достойную внимания литературу, можно отметить такую гармоническую согласованность между способом выражения и содержанием.

И вот эта-то гармония, как будто, нарушена в настоящее время. Перед нами множество произведений, которые, с точки зрения совершенства формы, представляют собой не только значительный шаг вперед, но и кажутся пределом достижения в искусстве. И вместе с тем, расцветшее в наши дни поколение литераторов выковывает себе из французского языка все более и более совершенное орудие изобразительности только для того, чтобы создавать или отделять одни лишь пошлости или ничтожные пустячки, непригодные в качестве элементов литературной оригинальности.

Поскольку дело идет об умении владеть словом, мастерство современных литераторов невероятно. Они, можно сказать, обновили все старые образы классического красноречия. Такие писатели, как Поль Моран, чаруют своей несравненной виртуозностью, которая дает впечатление полной новизны и на каждом повороте фразы приятно поражает ум и глаз. Манера выражения Жака Кокто подобна элегантным и тонким арабескам, рисунок которых напоминает изящные эволюции гимназиархов. А два поэта—Люк Дюртен и Жюль Сюпервией—дошли до подлинных открытий в области словотворчества. Они сумели «перекроить» сравнения и заносные образы, составлявшие общее достояние писателей предшествующей эпохи, переделать эти образы на новый лад, придать им больше силы и меткости.

Конечно, вся эта обаятельная новизна в средствах изобразительности, как это всегда бывает, подготовлялась нововведениями и дерзаниями предшествующего поколения. Но, как бы то ни было, ныне живущие преемники всех тех писателей, которые на ощупь шли к обновлению художественной формы, создали поистине удивительную по богатству и точности манеру письма, придающую столько блеска внешнему облику литературы наших дней.

К несчастью, это именно только внешний блеск,—и в этом самое сильное обвинение, какое можно выдвинуть против современной французской литературы. Получается вполне отчетливое впечатление, что все эти новые способы изобразительности остаются, в сущности, без всякого применения. Авторы довольствуются чарующей сложной и тонкой игрой слов и не думают идти дальше чисто словесных переливов. Этого достаточно для их творческого честолюбия: форма, которая должна быть средством, становится самоцелью.

Художники драпируют в изысканные модные костюмы убогие интриги, нелепые или устаревшие идеи. И всем этим пустоватым, в большинстве своем чисто «словесным», произведениям создает шумный успех снобизирующая публика, остающаяся в глубине души мелко-буржуазной, хотя бы это была публика буржуазных верхов. Она готова восторгаться книгами, которые, как манекены, очаровательно убаюкивают романисты и поэты, превратившиеся попросту в модных портных. Литературный снобизм чрезвычайно усиливается широкой, по-коммерчески поставленной, рекламой, организованной в Париже некоторыми издательствами с целью привлечь внимание публики на определенные книги среди целой массы других, ничем не отличающихся от первых,—ни своими достоинствами, ни своими недостатками. И, действительно, очень трудно рассортировать по категориям все эти произведения: все они блещут одинаковой виртуозностью и все они, в конце концов, становятся на одно лицо,—результат, быть может, и странный, но вполне нормальный.

Разумеется, можно было бы провести кое-какие грани, установить нечто вроде классификации: например, выделить группу писателей, которых можно по преимуществу назвать «деталистами» и которые, как Пру, Моран и Жироду, блещут мелким фейерверком образов. Другая группа—это те, которые переносят свою филигранную работу в более отвлеченную психологическую область: таков, напр., Раймонд Радиге, автор «Бала у графа д'Орж ля»,—произведения, наделавшего много шума. На самом деле оно представляет собой просто анализ, сухой и холодный, как само слово «психология». Все подобные разделения можно проводить бесконечно, и они завели бы нас слишком далеко, помешали бы нам, как это всегда бывает, притти к выводам, вытекаю-

щим из общего обзора современной французской литературы, а именно, что в ней разработаны несравнимые приемы изложения, но что приемы эти остаются только приемами и ничего не вносят в современную мысль, ни с точки зрения разума и философии, ни с точки зрения нравственной, ни, тем более, с точки зрения социальной.

Правильность этих соображений, этой серьезной и суровой критики подтверждается и тем, что современное литературное сознание возродило— в очень резкой, даже вызывающей форме—теорию искусства для искусства, отвлечения литературного произведения от всякой другой цели, кроме него самого. Автор не должен вмешиваться в великие потрясения, волнующие человечество,—он только художник образов и ощущений. И, конечно, все то, что носит социальную окраску, все то, что имеет отношение к политике, к трагедии человеческих судеб, к действию,—все это тщательно отбрасывается теорией самоуничижения и бессилия, теорией, сделавшейся, можно сказать, основным (скрытым или открыто признаваемым) пороком французских писателей нашего времени. С точки зрения идейной борьбы, социальных потрясений, с точки зрения коллективно переживаемой действительности они отличаются коренным и круглым невежеством, полной непримиримостью, доходящей до того, что они, как я уже указывал, пытаются идеализировать и принципиально обосновать свой отрыв от бесконечных драм человечества.

И я думаю, что если французские писатели продолжают коснеть в роли увеселителей по мелочам, акробатов слова, и если они—эта каста интеллигентов—упорно не желают отказаться от такого амшлуа, то это потому, что они консервативны, и новое их пугает так же, как бесформенную обывательскую массу, придворными которой они состоят вот уж несколько поколений. Они более или менее сознательно кадят общей посредственности, создающей их успех, забавляющейся их стилистическими вывертами, но не признающей вне этих вывертов никаких новшеств. Совершенно также литераторы предшествовавшей эпохи льстили королям и вельможам, дававшим им возможность жить и блистать.

Во всем этом видны несомненные признаки упадка и того резкого и поразительного, уже отмеченного выше, расхождения между технической смелостью всех этих интеллигентов и традиционным мировоззрением, которому они рабски следуют.

Действительно, трудно себе представить, с какой смелостью,—быть может, неслыханной во всемирной истории искусства—новые писатели (как и в другой области новые художники) отвергают старые художественные нормы и нарушают кодексы литературных приемов, со славой применявшихся в течение веков. В этом отношении умственно отсталых французских писателей можно назвать революционерами. Нельзя отрицать того, что они произвели глубокую революцию стиля, нанесли сокрушающий удар всему условному в методах художественной образности, всей классической и романтической сброе, так долго опутывавшей литературу и искусство. Они отучили публику от преклонения перед тем, что до сих пор считалось чистым, академическим языком, а ведь эту публику очень трудно заставить свернуть с пути, по которому она слепо бредет. Случается и так, что иной из современных авторов,—притом большой художник—отчасти теряет свое значение, становится устаревшим оттого, что мало обращает внимания на средства изо-

бразительности, какими он пользуется. В этом и заключается вполне правомерная художественная революция. Было бы нелепым полагать, будто французский язык установлен раз навсегда и что для того, чтобы правильно писать, нужно только точно следовать правилам и оборотам Расина, Вольтера и Виктора Гюго. Революционеры художественной формы дерзнули ввести новые приемы творчества, более простые и, вместе с тем, более углубленные и проникновенные. Они взяли на себя неблагоприятную и почетную роль: навлекая на себя анафему всех сторонников традиционного порядка, выковывать более современные орудия изобразительности.

Повторяю, мы должны быть благодарны новым художникам за сделанное ими доброе дело. Одна эпоха не может пользоваться языком другой, как не может одна эпоха пользоваться костюмами другой,—и то и другое было бы одинаково смешно. Современный ум чрезвычайно усложнился, стал гораздо более чутким и углубленным, чем был когда-то в прошлом. Жизнь нашего времени полна научных достижений, новых запросов, обострившейся и ожесточившейся борьбы,—и всего этого нельзя передать при помощи простых, слишком бесцветных, серых слов и оборотов, которыми Вольтер рисует духовный облик своего Кандида,—облик, впоследствии развитый и расцвеченный, но нисколько не измененный, Анатолем Франсом.

Добавим, что все нововведения, проникающие в литературный стиль наших дней, все, в сущности, взяты из народного языка. В этом еще не самая странная особенность нашей литературной эволюции, которой, как и всякому переходному явлению, свойственны парадоксы и противоречия. Новый стиль более народен, чем тот, которому он идет на смену, и это потому, что он более точен, красочен и выразителен. Новые выражения, сравнения и образы, наводняющие новую литературу, отмечены поразительной сжатостью народных оборотов, свойственной нашему языку, подобно тому, как художники при их попытках упрощения в живописи явно черпают свою силу и получают свое оправдание в тех замечательных выражениях народного творчества, которых повсюду задушило развитие классической живописи, но которые все еще живут в народных глубинах.

Теперь мы видим, где, в какой области, литература завтрашнего дня найдет твердую почву и об'единяющее начало. Духом ее станет пролетарский, революционный дух. В нынешнем хаосе произведения, отмеченные подобными веяниями, редки. В настоящее время во французской литературе произведениям, проповедующим реакцию, социальный застой, отжившие верования и старые традиции, противопоставляются лишь вещи с «либеральной» идеологией. Без вдохновения, со слабостью, присущей мысли, сознательно боящейся глубины, они излагают либеральную доктрину левой, — той демократической левой, которая защищает расплывчатый гуманизм или же ополчается против старых погрешностей в законодательстве или в быте, при чем тщательно избегает признания того, что эти погрешности—следствие буржуазной системы в целом и исчезнут только вместе с ней. Пацифисты громят войну и впадают в ту же логическую ошибку. Впрочем, некоторые авторы, касаясь войны, вскрывают специфические причины этой язвы и нападают на правящие нами политические и социальные учреждения. Из прекрасных книг о войне, из которых сами собой напрашиваются революционные выводы, стоит отметить «Цепи славы» Адриена и «Слуга славы» Жолинона.

Но уже крепнет фаланга авторов, способных устранить мягкотелость и близорукость французской литературной интеллигенции. С этой точки зрения работы Магдалины Маркс, Вайана Кутюрье, Жана Берние и некоторых других являются предвестниками возрождения, к которому нас ведет неизбежная логика вещей. Тогда новизна формы, отвечающая требованиям времени, пойдет вровень с новым мирозерцанием, развивающимся волей-неволей, как результат социально-революционного движения, у всех страдающих от старого строя.

АНРИ ВАРВЮС.

---

# Археологические открытия монголо-тибетской экспедиции П. К. Козлова в Северной Монголии.

*П. К. Козлов.*

**Б**ольшой караван из 55 верблюдов, десяти лошадей, сопровождаемый веселым лаем трех монгольских собак, в ноябре 1923 года готовился выступить из Урги—столицы Монголии. С любопытством осматривали нашу экспедицию местные жители. Само монгольское правительство весьма тепло относилось к задачам экспедиции дружественного Союза. Оно помогло ей оборудовать ее очень сложные снаряжения и приняло ряд мер, чтобы мы могли достичь поставленной цели—добраться к заветному югу, для тщательного его обследования.

Состав экспедиции был сделан по моему собственному выбору, и я теперь смело могу сказать—сделан был весьма удачно: геологеограф, ботаник, этнограф-композитор, орнитолог-зоолог, врач, препараторы, студенты, вооруженные конвоиры, проводники, погонщики верблюдов—всего 25 человек.

Радостные, оживленные, полные надежд на счастливые находки, на научную славу—все ждали дня от'езда, но непредвиденные обстоятельства изменили наши планы; радость экспедиции померкла, наступила реакция, все заскучали...

Тогда я решил дать новые задачи своим спутникам, организовав пять экскурсий по радиусам от Урги. Особенно интересовала меня местность к северо-востоку от Урги, которую я поручил моему старшему помощнику, С. А. Кондратьеву. Через некоторое время экскурсии возвратились и привезли интересные находки. Больше всего посчастливилось этнографу и композитору С. А. Кондратьеву.

В живописных горах Нойн-Ула, перерезанных тремя ущельями—Судзуктэ, Цзурумтэ и Гучжуртэ—им были обнаружены три могильных поля—целый город мертвых—с общим числом курганов 150. Это открытие натолкнуло нас на новый путь нашей деятельности—путь археологических раскопок.

В старых хижинах, покинутых золотоискателями, расположился С. А. Кондратьев со своей экскурсией, которую в феврале 1924 года доставили туда из Урги уже по-современному—прямо на автомобилях, вместо медленных верблюдов и прихотливых лошадей.

Еще снег не сошел с полей, и земля не оттаяла, а мы приступили к раскопкам первых двух курганов: № 6 и «Мокрый».

Курганы предварительно были осмотрены, записаны и перенумерованы, и все записи работ затем точно велись в дневниках. Все курганы расположены у подошвы горного ската, в трех долинах, приблизительно по равному количеству в каждой из них; имеют различную величину: самый большой 30 на 30 арш., средний — 15 на 20 арш. и маленький — 3 на 3 арш. Многие курганы возвышаются над землей на один-два метра, другие почти сравнены с землей, и их можно узнать лишь по присущему всем курганам воронкообразному углублению в центре. Все курганы сохраняют основное прямоугольное расположение, выраженное рядом больших бесформенных камней, отторженных от ближайших горных пород, и окружены круглым, довольно высоким, валом.

Мерзлая земля туго поддавалась киркам. Русские выходцы из Забайкалья не привыкли к такой тяжелой работе, и только тогда, когда их заменили трудолюбивые и упорные в работе, привыкшие ко всяким неблагоприятным условиям, китайцы, дело пошло на лад.

Но все-таки первые три сажени трудно дались. Шли квадратными колодцами четыре аршина на четыре. Ночью раскладывали большие костры, оттаивали землю, днем работали. На четвертой сажени земля стала рыхлой и дальнейшее углубление стало более легким. Прошли шесть саженей — ничего не обнаружили. Все начали волноваться. Работа казалась бесплодной. Я подбадривал своих сотрудников, будучи твердо уверен в успехе, и все время повторял: «Копайте глубже! Копайте глубже!..»

Наконец, пройдя семь сажен в глубь земли, мои спутники с криками восторга обнаружили крышу погребальной камеры. Осторожно мы проникли в отверстие в крыше. Первым спустился А. Д. Симуков с зажженной свечей в руках и был восхищен при виде стен, обтянутых тонкой шелковой материей и оригинальными гобеленами, отражающими на себе греческое влияние — эллинизм.

Гробница стояла по середине внутреннего погребального помещения от севера к югу. Дальнейшие раскопки показали, что все гробницы строго ориентированы по странам света. Гробница представляет из себя маленькую бревенчатую, обтесанную внутри, постройку, состоящую из двух домиков: наружного и внутреннего. Домики эти отделены друг от друга коридорами, обтянутыми шелком, соседние стены украшены художественной вышивкой с изображением человеческих фигур, лошадей, птиц и пр.

Описанный нами курган, под названием «Шестой», оказался наиболее глубоким и наиболее богатым по своему содержанию — по научным и художественным ценностям. Все то, чем гордится экспедиция и что составляет ее славу — гобелен «Всадники», ковер с местным художественным творчеством — с изображениями лося, крылатой рыси, двумя мифическими животными, вступившими в единоборство (одно из них копытное — буйвол, як или зубр, другое — хищник, вроде леопарда), — все это было извлечено из «Шестого» кургана.

Эти находки, впоследствии признанные жемчужинами-униками экспедиции, восхищают не только археологов-специалистов, русских, западно-европейских и американских ученых и путешественников, но и всякого, кто пытливым оком жаждет проникнуть в глубь веков и из таинственных молчаливых недр земли пытается исторгнуть ее тысячелетние тайны...

Помимо этих предметов исключительной археологической и художественной ценности, в кургане № 6 были найдены черные человеческие косы числом

до 20. Некоторые из них были заключены в футляры из шелка и снабжены талисманами. По всей погребальной камере были разбросаны самого разнообразного качества, самых разнообразных цветов, с различными орнаментами, шелковые и шерстяные ткани, куски одежды, по воротнику и бортам отороченные соболями, а также остатки мягкой с орнаментом обуви. Нельзя не отметить бронзовых и деревянных изделий, в виде остатков седел, изображения изюбря с металлическим основанием для рогов, двух или трех разбитых урн с орнаментом, характеризующим эпоху Ханьской династии, то-есть, за два века до нашей эры.

Крышка гробницы—деревянная, массивная, украшенная тонкими золотыми пластинками. Самая гробница сделана из лиственничного дерева (сибирской лиственницы), размерами в длину—1 сажень, в ширину и в вышину—менее 1½ аршин. Нельзя не отметить найденных нами сеток из искусно сплетенных конских волос. Сетки эти, вероятно, надевались на голову лошади во время походов, чтобы оберегать ее от укусов назойливых насекомых. Кроме этой сетки были найдены также сделанные из конских волос махалки, прикрепленные к деревянным рукояткам и собранные в пучки,—вероятно, для украшения той же лошади.

Вторым был раскрыт Андреевский курган. Благодаря сухому грунту, его легко было рыть. Но, несмотря на то, что он был весьма обширным, курган оказался чрезвычайно бедным по содержанию. На глубине четырех сажен был обнаружен выход гранита, на граните лежали жалкие остатки погребальной камеры и несколько проржавленных железных стрел.

Следующим мы разрыли курган № 23, который оказался женским погребением, отличительной особенностью которого было отсутствие кожного коридора, служившего, по всей вероятности, входом в погребальную камеру. Это погребение обогатило экспедицию золотыми изящными предметами—женскими украшениями, изображением лошади, напоминающим изображение на скифских вазах, и нефритовой пластинкой с начертанием лица человека. Кроме того, были найдены шелковые и шерстяные ткани, с орнаментами и без орнаментов, в хорошей сохранности, керамика, бронза, четыре лаковых чашечки с боковыми золочеными украшениями и с красочным оригинальным орнаментом. Этот орнамент, а также орнамент с встречающимися в нем иероглифами на тканях и обломках китайского зеркала, еще полнее подтверждают, что курганы относятся к Ханьской династии (за два века до нашей эры). Мой знакомый китаец, ученый, одни из иероглифов прочитывал, перед другими ставился втупик.

Дополнением ко всему сказанному служат остатки загробного приношения: большая черная глиняная урна и четыре меньших, темно-серых. На дне урны обнаружен цементированный кирпичный чай с хлебными зернами.

В кургане № 25, на четырех-пяти-саженной глубине, в жалких развалинах погребальной камеры, кроме предметов, аналогичных найденным в других курганах, найдены были еще бронзовые изделия: 35 однотипных предметов с тьюлпанообразным основанием, сильно позолоченных. Вероятно, эти предметы служили наверху для палок, к которым прикреплялись балдахины, украшавшие гробницы.

В настоящее время экспедиция усиленно занята разработкой «Мокрого» кургана. Курган этот долгое время привлекал мое внимание, так как я пред-

полагал, что он нам подарит новые неожиданные предметы. Он находился под мощным слоем воды, которая долгое время препятствовала проникновению в его гробницу. Поэтому раскопки его пришлось отложить до холодных месяцев, когда обильное количество воды заменилось тонкими струями и работы по откачиванию стали более доступными.

Предположения мои оправдались. На-днях открытая гробница «Мокрого» кургана обогатила нас большим количеством нефрита, художественными предметами, гобеленами с изображением мифических животных, пятнистого оленя и других. Возможно, что эти предметы будут признаны новыми археологическими униками.

Во всех находках, кроме их высокой художественной и научной ценности, нас особенно поражает одно обстоятельство: как могли на протяжении более двух тысячелетий сохраниться тонкие шелковые и шерстяные ткани, женские волосы, ковры, гобелены, да еще в таком изумительном виде? Многие из тканей с причудливыми художественными узорами, по доставке их в русский музей в Ленинграде, были промыты и очищены от глины специалистами-реставраторами и теперь имеют почти новый вид. Единственное об'яснение этому мы находим в том, что на такой большой глубине все время держалась ровная низкая температура 0—1°: замечено, что равномерная влажность воздуха способствует прекрасному консервированию вещей.

Надо указать еще на одну особенность. Ни в одном из курганов не было найдено целиком человеческого костяка. Во всех гробницах там и сям разбросаны были отдельные кости, и это обстоятельство наводит нас на мысль, что эти курганы подвергались разграблению.

Антропологические исследования черепов, найденных в гробницах, показывают, что покойники принадлежали к иранской расе, так как они не имеют особенностей, присущих монголам и китайцам.

Найденные в курганах предметы носят яркий отпечаток Хавьской дж насти, существовавшей 2000 лет тому назад.

Есть полное основание думать, что благодаря этим ценнейшим находкам ученые установят связь между европейскими гуннами, жившими в IV—V вв. по Р. Х., и кочевниками хун-ну—северными соседями китайцев.

Это племя, по китайским источникам, жившее в конце III века до Р. Х., образовало «кочевую империю», во главе с Мао-Дунем, захватившим власть и об'явившим себя ханом.

С этого времени взаимоотношения хун-нуйских ханов с Китаем выражаются в хищнических набегах кочевников на земли богатого соседа, в ответ на которые китайцы посылают свои войска. К концу I века могущество кочевой империи, сломленное китайским влиянием, начинает падать. Китайские нравы проникают в кочевую среду, китайские принцессы выходят замуж за хун-нуйских ханов, привозят с собой тонкие шелковые ткани, художественную утварь, найденную в курганах. Происходит ассимиляция двух культур—более высокой и более примитивной.

П. К. КОЗЛОВ.

# По Советской земле.

## Современное Пошехонье.

Л. Григоров.

I.

### Первые впечатления.

До путешествия в Пошехонье весной 1925 года я совершенно не знал, что такое радиатор. Это—бак, наполненный водой, и в автомобиле он находится перед самым носом шофера. А так как я сижу рядом с ним, то радиатор торчит и перед моим носом. Смотрю я на него с настоящей тоской: какие-то трубки полопались в нем, он словно ранен, истекает водою, как кровью; затем вода еще закипает, как бульон на плите, из отверстия, покрытого медной шляпкой, пробивается пар— и тогда шофер тормозит. Автомобиль останавливается среди глухого хвойного и березового леса и тускло поблескивающего болота. Шофер берет некрашеное темное ведро, набирает желтоватой воды и льет ее в радиатор. Наливает до-верху и затем трогается дальше. Автомобиль кричит, скрипит, как глубокий старик, но через пять-шесть верст повторяется эта скучная процедура с испорченным радиатором. Мне кажется, что мы никогда не доберемся до Пошехонья. Пятьдесят шесть верст от Рыбинска тянутся ужасно долго. Медленно плывут нам навстречу глухой лес, болота, тихие, молчаливые деревни, вяло бредущие пешеходы, телеги с крестьянами. Пугливые деревенские клячи, завидя автомобиль, дрожат в ужасе и мечутся, еле сдерживаемые возницами. Вон, навстречу, плетется еще одна телега; вытянувшись во весь рост, беспечно спит на ней крестьянин; гнедая лошадь крепко пугается, высоко вскидывает морду—и решительно поворачивает обратно; повернув, она скачет впереди нас, а крестьянин все спит. Шофер и я кричим во все горло:

— Эй!.. Эй, гражданин!.. Го-го-го!..

Крестьянин, наконец, просыпается. Он хватается за возжи и умиряет свою гнедую, которая со страху хотела уже броситься в канаву. Автомобиль проскочил мимо. Я оглядываюсь, дорога прямая, и мне видно, как плетется за нами этот пошехонец. Он теперь едет не туда, куда наметил; однообразный лес ничего не говорит ему. Тут мне вспоминается сказка о заблудившемся в трех соснах. Какое изумление будет на бородатом лице крестьянина, когда он, вместо Рыбинска, попадет теперь в оставленное им Пошехонье! Затем нам встречаются на пути две крестьянки—пожилая и старая; они, как лошади, пугаются автомобиля, и прекомично прыгают через канаву, высоко подняв раскинутые руки. Меня развлекают еще куры, беспечно бродящие по дороге около

своих деревень. Они совершенно не обращают внимания на наш автомобиль—пока он почти не придавит их; в этот последний момент куры во главе с петухом издавали истерическое кудахтанье и взлетали на воздух с отчаянными воплями; перелетали канаву и спасались от «чудовища» паническим бегством.

Старик-автомобиль шумно катится, я боюсь за его ветхие силы,— боюсь застрять в дороге. Меня как-то особенно влечет это историческое Пошехонье. Я вспоминаю одного пошехонца, которого я видел два дня назад в Ярославле. Это был семнадцатилетний парень, белообрый, с узким удлинненным лицом и маленькими голубыми глазами. Он служил курьером в книжном магазине и жил в общежитии Дома Крестьянина. Я остановился в этом доме и два вечера наблюдал этого пошехонца. Ничего примечательного в нем я не заметил. Две девушки, дежурившие в громадных спальнях общежития, постоянно подшучивали над ним. Им было смешно смотреть на парня, когда он, купив хвост селедки, начинал уничтожать его с конца. Питался он скверно—черный хлеб, картошка, селедка. Однажды он купил четвертушку сливочного масла. Одна дежурная шутя попросила его:

— Миша, милый, дай мне кусочек масла.

Он в ответ взволновался и дрожащим голосом проговорил:

— Что ты просишь у меня! Ведь ты знаешь, как я дрожу над каждой крошкой...

Ничего смешного в этих словах не было, но дежурные залились веселым смехом. Этот подросток влюбился еще в живую, жизнерадостную комсомолку, ночевавшую в Доме Крестьянина. Едва скрывая смех, она притворилась тоже влюбленной. Молодой пошехонец некоторое время пребывал в тихом восторге. Он готов был уже уделить кокетливой комсомолке часть своего скудного ужина, но она внезапно уехала в неведомые края.

— Я буду писать тебе, Миша,—сказала она на прощанье.—Я тоже люблю тебя.

Парень поверил, но писем не было. Он тихо грустил, а дежурные девушки откровенно смеялись над ним.

— Миша, тебе письмо пришло...

Он тянул к ним руки.

— Дай... Скорее дай!..

А они прыскали бурным смехом. Пошехонец этот не был для них человеком.

— У нас тут так: что пошехонец, что дурак—никакой нет разницы,—говорили мне они.—Назовите кого-либо пошехонцем—обидится еще больше, чем от «дурака».

В Рыбинске я увидел еще одного пошехонца. Он приехал сюда, чтобы купить заготовки на ботинки для жены. Приказчик в магазине кожаного треста подал ему пару заготовок разной величины—одну штуку побольше, другую поменьше.

— Это не годится,—сказал пошехонец.—Ты дай мне одинакие.

Приказчик на это грубо закричал:

— Ты еще выбирать будешь! Бери, какие дают. А не нравятся, убирайся к чортовой матери!

Пошехонец почесал в затылке и взял разной величины заготовки. Потом он показывал кому-то на улице свою покупку и жаловался:

— Смотри: одна длиннее, а другая покороче. А я ему и говорю: дай, брат, одинакие. А он мне—ступай к чорту! Я это для жены. На ботинки. А теперь один будет слободный, а другой мозоля натрет. Для жены я это.

Под равномерное покачивание автомобиля я еще кое-что вспоминаю про пошехонцев. Одного товарища, окончившего Свердловку, назначили для работы в Пошехонье. Он стал собираться в дорогу, а приятели его по университету весело смеялись над ним:

— Эх ты, пошехонец!.. Пиши нам, пошехонская образина!..

Автомобиль наш летит, как может,—и вдруг раздается выстрел. Это лопнула камера шины, автомобиль затрясся, как охваченный припадком малярии. Стоп машина! Как хорошо, однако, что у нас есть запасная камера!

Мы вылезаем на землю.

— Это уже Пошехонский уезд,—говорит шофер и принимается налаживать новую камеру.

Мы прогуливаемся взад и вперед среди низкорослого хвойного и березового леса. В Пошехонье едут, кроме меня, еще четверо: председатель Ярославского губернского исполкома, товарищ Королев, и еще три коммуниста из губернии. Председатель спешил на уездную партийную конференцию, а остальные три товарища назначены губкомом для ответственной работы в Пошехонье.

В ожидании, пока там шофер наладит пострадавшее колесо, мы беседуем друг с другом. Тут я узнаю, что в Пошехонье не все благополучно. Глухой городок сильно пьянствовал. Пили обыватели, пили и ответственные администраторы. Напиваясь в пух и прах, те и другие дебоширничали. Сильный, устойчивый и твердый в борьбе с уродливостями на местах, Ярославский губком часто смеялся слабовольных и беспечных пошехонских коммунистов, страдавших многими болезнями, что остались в наследие от угасшего режима. Борьба шла упорная и непрерывная. Старое в крепкой степени сказывалось на пошехонцах-коммунистах. И назначаемые из других мест энергичные работники нередко попадали под разлагающее влияние среды этого исключительного российского захолустья. Но здоровые духом, крепкие и настойчивые в строительстве новой жизни, товарищи не поддавались никаким тлетворным влияниям—и только постоянно требовали пополнения рядов своих новыми работниками. Вот и теперь в Пошехонье спешили три новых лица. Два из них были членами губкома,—люди испытанные, хоть еще и молодые, прошедшие школу революционной жизни, трезвые, с большой теоретической подготовкой. Губком не жалел своих сил. Нужно было во что бы то ни стало выпрямить искривленную линию жизни и деятельности Пошехонья.

Около шести часов вечера развалина-автомобиль в'ехал, наконец, в город, миновал большую базарную площадь, высокую многоглавую церковь, ряд деревянных и каменных строений и остановился около белого двухэтажного дома с вывеской:

«Центральная гостиница».

За пять с лишним часов езды мы изрядно проголодались, и не мешает подкрепиться. Входим в единственную в Пошехоньи гостиницу и попадаем в темный проход; по узкой грязной лестнице, в совершенной тьме мы взбираемся на второй этаж.

— Ракомболь какой-то!..—в неприятном удивлении бормочет будущий новый председатель пошехонского уездного исполкома, товарищ Варенышев.

— Вот так Пошехонье!—вторит ему другой из прибывших.

Мы попадаем в небольшую комнату с несколькими столами, покрытыми белыми скатертями, которые теперь, впрочем, серели от грязи. И вся комната выглядела очень неприглядно. Вид ее был такой, что три будущих новых администратора Пошехонья, сразу оценив город по гостинице, заметно упали духом. Сели за грязный стол и поникли головами. В комнате находилось одно лицо, которое дружески приветствовало прибывших из губернии. Это был военный комиссар Пошехонья, товарищ Данилов. Мне он показался полным противоречием стертительной ресторанной комнате. Одетый в прекрасную скроенную военную форму, стройный, блиставший молодостью, здоровьем и той изумительной выправкой, которая нередко встречается среди представителей Красной армии, товарищ Данилов производил очень благоприятное впечатление. Пока там три будущих администратора Пошехонья, в ожидании заказанной пищи, предавались тихому отчаянию, военный комиссар

приступил к устному докладу главе губернии, товарищу Королеву, о положении в городе и уезде. Данилов был словоохотлив, говорил быстро, слегка картавил, но этот недостаток не ронял, а скорее увеличивал его общую внешнюю приятность. Все шло хорошо, но внезапно в комнате появилась еще одна человеческая фигура—какой-то молодой парень в растегнутом полубубке, совершенно пьяный; сильно влохмаченные русые волосы на его узкой голове казались тоже разбитыми алкоголем. Неумеренно покачиваясь, он остановился перед скромным, сдержанным и хорошо воспитанным военным комиссаром.

— Здорово, товарищ дорогой!..—заякаясь, забормотал пьяный.—Ка-ак ты-ы пожив... жив... ваешь, приятель мой?.. Что-о поделываешь, друг-уг мо-ой?..

— Я... я вовсе вас не знаю,—в недоумении проговорил Данилов.

— Ка-ак, ты не знаешь!..—лепетал тот.—Забыл уже... А, ну-ка, ты погляди-и хорошо и вспомни...

— Не знаю,—вежливо возразил комиссар.

— Ах, ты, дурачина!.. Дурак ты этакий!..

Пьяный шагнул вперед и резким движением руки сильно дернул за козырек новенькой форменной фуражки военного комиссара. Фуражка была просторна и вмиг покрыла все лицо—до самого гладко выбритого подбородка. Быстрым жестом Данилов восстановил порядок на своей голове и в сильном недоумении обратился к председателю губернского исполкома:

— Скажите, товарищ, он с вами приехал, этот?..

Он кивнул в сторону пьяного.

— Что вы!—воскликнул тот.—За кого вы нас принимаете!.. Никогда в жизни его не видал.

После этих слов мгновенно изменилось лицо военного комиссара. Оно сделалось очень сердитым и красным, как самый алый мак. Глаза заблестали негодованьем. Он сорвался с места и вышел. Через минуту он вернулся. За ним следовал довольно опрятный милиционер. Пьяный парень был уведен в милицию. Порядок был восстановлен и беседа продолжалась самым спокойным и тихим образом, будто ничего и не произошло.

— Кто такой это был?—спросил я потом о пьяном трактирного слугу, среднего роста человека с огромными, какими-то провинциальными ушами, торчащими как два мясных лопуха.

— Фининспектор из волости,—живо и охотно ответил слуга.

Он давно жил в Попехонье и всех знал. Вообще, он был всезнающ. Ему было известно, кто пьет и сколько пьет. Непьющих он тоже знал на-перечет. О волостном фининспекторе, только что уведенном в милицию, он отозвался таким образом:

— Человек это очень порядочный, честный, только пьющий. Как только приезжает из волости, то непременно напивается. А в волости этого себе не позволяет. Потому что деревня, понятно, сейчас в критику. Так и говорит: «пропивают товарищи наши денешки». Выходит, конечно, нехорошее мнение. Только не всякий, конечно, пить в город едет. На месте выпивают.

— А что будет теперь этому фининспектору?—спросил я.

— Ничего не будет. Посадят его за решетку часика на два, а потом выпустят, когда человек в трезвость войдет. У нас за пьянство не наказывают. Ежели пьет какой-нибудь председатель, то почему же не выпить фининспектору? Это всякому понятно.

— Но этот пьяный скандалил...

— Хе-хе-хе!—весело засмеялся трактирный слуга.—Разве это скандал? У нас скандалом называется, когда человек нож в живот чей запустит или рожу в кровь разобьет. А это можно сказать ничего. Прах. Маленько подурачился парень.

Через некоторое время я узнал, что пьяного фининспектора и в милиции продержали всего две-три минуты, что его бережно доставили до-

мой, в семью, и уложили спать. Словом, по-пошехонски вышло, что никакого события вовсе не произошло. Прах.

— А как ваш город?—спросил я еще трактирного слугу.

— Скверный город, очень даже плохой,—ответил он, сделав подобающую гримасу.—Город, как деревня. И народ тут все слепой, никудышный. Понятно! если нет железной дороги. Мало кто любит сюда заглядывать.

Первую ночь в Пошехонье я и три будущих администратора заочевали у заведующего местным агитпропом, товарища Исаева. Этот работник числился на хорошем счету и не подлежал отправке в распоряжение губкома. Письменный стол в его домашнем кабинете был завален различными свежими книгами по политико-экономическим вопросам. Правда, не все книги были разрезаны до конца, а иные и совсем нетронуты ножом, но я могу с уверенностью сказать, что товарищ Исаев являл собой образ просвещенного человека, коммуниста с головы до пят. Он отлично знал, что творится на всем земном шаре, знаком был с новинками изящной литературы, любопытствовал даже на счет живописи последних дней. За чайным столом мы достаточно поговорили обо всем на свете, и мне показалось, что я нахожусь не в глуши пошехонской, а в самой Москве.

Товарищ Исаев уложил нас спать в своей столовой, в которую каким-то невероятным образом выходили три широчайших печки. Тут мы доподлинно познали, что такое пошехонские печи. Все три они были накалены до последних пределов, хотя мороз на дворе совершенно отсутствовал,—апрель был в начале,—теплое солнце целый день грело пошехонскую землю. От раскаленных печей просторная столовая превратилась в жаркую баню. Мы разоблачились и легли на разбросанные в приличном количестве полушубки. Головы наши упирались в горячую печь, шириною, по крайней мере, в полторы сажени. Будущий новый секретарь уездного исполкома, товарищ Дудинов, извлек из бывшего при нем чемоданчика гуттаперчевую подушку и, надув щеки, стал накачивать ее воздухом из своих легких. Когда подушка вздулась до необходимых пределов, он с большим удовольствием положил на нее свою голову, но мы еще не успели заснуть, как он поднялся и снова стал дуть что есть силы в гуттаперчевый мешок, воздух в котором задерживался очень слабо. Я был доволен, что под головой моей лежит обыкновенная пуховая подушка, но сон, однако, не приходил. Жара в комнате была страшная.

— Неужели все пошехонцы так топят свои печи?—в изумлении задал я вопрос дувшему в мешок Дудинову.

— А почему бы так не топить, когда лесу кругом—пропасть,—возразил этот мученик цивилизации.

— Дрова, значит, дешевые?

— Три рубля сажень!—делая передышку, выпалил Дудинов.

— А какие это дрова?

— Да какие угодно: сосновые, березовые...

Дунув еще несколько раз, он опять улегся. Потом я сквозь некрепкий сон слышал, как бедный малый снова мучился со своей подушкой.

Проснулись мы чуть свет. В висках моих стучало, дыхание было неровным, все тело словно вопухло. Пошехонская топка печей отвратительно подействовала на состояние духа и тела.

— На свежий воздух, ребята!—предложил я трем товарищам.

Мы пошли прогуляться по Пошехонью. Прохладный утренний воздух приятно обдал нас; этот воздушный душ скоро возобновил пре-восходное настроение. Синее пошехонское небо, без единого облака, показалось мне необычайно приветливым; тихие улицы города, нелепо вымощенные гранитом и грязные от только что растаявшего снега, показались мне и совсем праздничными. А воздух был так чист, крепок и здоров, что жалкие постройкы Пошехонья, невысокие серые дома, померещились мне дачными виллами, в которых живут прекрасные суще-

ства, теперь крепко спящие мирным, беззаботным сном. Да, после трескучей, чадной и нервной Москвы эта провинциальная тишь со своим изумительным покоем приятно и сильно действует. Почти в один миг нервы приходят в равновесие, и глаз радуется каждому пустяку.

— А вот это пошехонский театр,—говорит приставший к нам местный житель, Смирнов, рабочий-кожевник, живший с Исаевым на одной квартире.

— А актеры есть у вас?—спрашиваю я.

— Конечно, есть. Еще какие актеры. Первокласные!..

Он иронически засмеялся.

— А как кино?

— И кино имеется. Аппарат, экран. Только лент добыть никак не могут. Все нет лент.

— А почему?

— Да кто их знает! Прокат дорого стоит, что ли.

— А как радио?—задаю я еще вопрос.

— И радио у нас устроено, только ничего не слышно. Волну, что ли, поймать не могут. Или единственная трубка телефонная плохо действует. Старая трубка. Слушают тут, слушают, и ничего не идет в ухо. На счет радио, словом, у нас дело обстоит неважно.

— Пойдем на реку, товарищи,—предлагает товарищ Дудинов. Он в отвратительном настроении. Пошехонские печи и дырявая гуттаперчевая подушка оставили в нем свой след.

Мы движемся к реке Согоже. Площадь, занимаемая городом, велика,—и река скоро тускло заблестала перед нами. Не через нее ли в оное время перебирались на круглых бревнах наивные пошехонцы?..

Город Пошехонье перекинулся и на другую сторону реки, но не было хоть какого-нибудь моста. Пошехонцы переезжали туда на пароме. Относительно отсутствовавшего моста в городе рассказывали, что некое американское акционерное общество в до-революционное время предлагало пошехонцам построить крепкую, устойчивую переправу и даже совсем бесплатно, но только с таким условием: эксплуатировать переправу в пользу общества в течение двадцати пяти лет. Трудно сказать, какая сумма получилась бы от такого долгого взимания за переход на другой берег, но только пошехонцы сильно испугались копеечной платы в течение четверти века. Категорически отказались они от американской услуги. И по настоящее время сидят без моста. Катаются на елееле плывущем по снасти пароме. И платят они частным предпринимателям немало трудовых денег.

— Своим—ничего. Только не американцам. Где ж таки—двадцать пять лет в иностранной кабале быть!

А то, что после этой кабалы им останется капиталный мост... нет, до этого думы их не доходили.

## II.

### Выборы беспартийных.

Собираясь достаточно времени пожить в Пошехонье, я у одной бедной вдовы нанял комнату. Вдову эту звали Евдокией Митрофановой. Она была тихой, робкой, довольно приветливой. Некогда она жила очень хорошо, но покойный муж ее, слесарь по профессии, жестоко пил и погиб, разбитый параличом. Теперь у нее остались одни только воспоминания о прекрасных днях и тяжкая бедность. Ей уже стукнуло тридцать пять лет, но вид ее был еще пригожий, даже привлекательный. Совершенно неведомо, чем она поддерживала свое существование, так как хозяйство ее состояло всего из одной курицы, которая не неслась, трехмесячного поросенка, вечно голодного и орущего, что есть мочи, в запертом сарае.

Устроившись на новом месте, я отправился в театр, где, по моему

предположению, должна была происходить уездная партийная конференция. В большом, но чрезвычайно уютном и грязном театральном зале я увидел много народу, преимущественно женщин, вовсе не щеголявших нарядами, хотя был день отдыха. Я скоро узнал, что это собрание беспартийных, производящих выборы своего представителя в уездный совет. Партийная же конференция шла в центральном клубе. Ну, ничего. Я посмотрю, что творится среди беспартийных пошехонок и пошехоновцев.

Выборы, несомненно, захватили пошехонскую беспартийную массу. Я видел горящие глаза избирателей, наблюдал заметное волнение, горячие реплики с мест, даже резкие вспышки. Все помыслы и заботы вертелись, главным образом, относительно благоустройства города. Нужен во что бы то ни стало ремонт мостов. На семь верст вокруг города мосты пришли в ветхость. Крайне необходима еще общественная баня. Как это так, что вот до сих пор в городе нет общественной бани! Представитель пошехонского коммунального хозяйства, товарищ Кругляков, обещает устройство общественной бани. Мало того, он обещает еще построить в центре водокачку. Это облегчит плечи хозяек, на которых постоянно болтается коромысло с двумя тяжелыми ведрами. Но здесь решительно протестует одна энергичного вида гражданка.

— Водокачка!.. А на что нам эта водокачка? Воды у нас и без того много и вовсе нетрудно сбегать на речку. Вы, товарищ, лучше организуйте такую школу, где дети наши могли бы научиться сапожному и портновскому ремеслу. А то они скачут балбесами по улицам и толку никакого. А водокачка нам не нужна. Мы с ведерками к реке сбегаем. Школу надо. А то мальчишки наши хулиганят. Девчонки тоже.

— Никто с вами не спорит, гражданка,—возражает представитель коммунального хозяйства.—Но ремесленную школу сейчас совсем невозможно устроить. У нас нет достаточного количества обыкновенных школ. И нет очень нужных сельско-хозяйственных школ. Вон у нас лежат десять заявок из уезда с просьбой открыть школы первой ступени. И мы не можем удовлетворить их, потому что денег совсем нет.

— Да вы оставьте водокачку!..

— Нам еще нужно построить новую пожарную каланчу,—продолжает представитель коммунального хозяйства.—Старая каланча едва держится. При ветре она шатается, а если сорвется буря, то каланча полетит вверх тормашками. Может случиться несчастье.

Затем товарищ Кругляков сообщает несколько взволнованному собранию, что ко дню празднования Октября в настоящем году будет создана новая электрическая станция, более мощная, чем та, что имеется.

— У нас работает станция в двадцать пять сил, а мы соорудим новую, в двести лошадиных сил.

Такое многоговорящее электрическое предприятие, казалось бы, должно было произвести сильное впечатление на пошехонское беспартийное собрание, но я не видел какого-либо движения в зале, не слышал одобрительного шума, ни даже отдельных возгласов удовлетворения. Все были спокойны и равнодушны.

— Мы дадим электрическую энергию в близлежащие деревни,—преважно продолжает товарищ Кругляков.—Этой новой станцией мы значительно продвинем электрификацию в уезде. Мы еще построим лесопильный завод. Кроме того, в ближайшем времени мы начнем постройку капитального моста через Согожу.

— Ай, да, советское Пошехонье!—подумал я.

Но почему это беспартийные пошехоны так равнодушны к заявлениям представителя коммунального хозяйства? У некоторых я замечаю на лице кривую улыбочку. Иные сонно сопят, готовые словно уснуть. Третьи благодушно переговариваются между собой. Никакого оживления. Капитальный мост, водокачка, сильная электрическая станция, лесопилка... кажется, есть чему порадоваться! Я удивляюсь исключительной индифферентности этого непроходимого захолустья.

Вдруг ко мне обращается сосед по скамье, бородатый человек довольно внушительного вида.

— Много обещают,—почти полным голосом говорит он,—а где они, спрашивается, денег достанут? Ведь за год у них чуть что не двести тысяч дефициту. Вот в чем вопрос. Если бы они не так много обещали... И бани общественной не будет. И никто не виноват. Потому что—бедность.

После щедрых обещаний товарища Круглякова состоялись выборы в уездный горсовет. Большинство голосов получил этот великий оптимист. Ему немного поплодировали. Затем беспартийная публика распозлзлась по городу, а я поспешил в центральный клуб на пошехонскую партийную конференцию.

Теперь я увидел значительно меньшее количество людей в самых разнообразных одеяниях. Тут были преимущественно мужчины. Пошехонские интеллигенты смешались с рабочими и крестьянами. Но что такое? Все мужчины и мужчины. Я с трудом разглядел несколько женщин. Несомненно, пошехонское женское общество сильно отстало от мужского. Я потом узнал, что в Пошехонском уезде насчитывалось всего пять женщин—членов партии и кандидатов. Количество слишком ничтожное, так как в уезде коротали жизнь сто двадцать тысяч народу.

Надо полагать, что и эти пять прозревших женщин являлись чудесными образами на отсталой и протухлой пошехонской земле. Обывательщина тут цвела всеми тонами серого цвета, который становился временами даже черным. Работать маленькой женской коммунистической группе приходилось в чрезвычайно тяжелых условиях. Впрочем, губком время от времени командировал сюда коммунисток для создания в волостях женотделов, но они тоже мало успевали. Деревенские пошехонки почти совсем не шли на советские зовы, и потому нет ничего удивительного в том, что только в трех волостях есть женотделы. А всех волостей в Пошехоньи—тринадцать.

На уездной партийной конференции меня приятно поразил, прежде всего, один член партии, товарищ Порошин, одетый в военную форму. Он только что оставил Красную армию и теперь состоял начальником конного резерва пошехонской милиции. Он выступил с краткой, полной негодования, речью.

— Я пробыл недели две в деревне и наблюдал там сильное пьянство!—бормоло, по-военному, выбрасывая он из своей крепкой груди.—Пьют обыватели, пьют коммунисты, пьют и комсомольцы. И мало того, что пьют,—комсомольцы еще и самогон сами гонят, имеют к тому сильное притяжение. Да разве это допустимо в наших рядах, товарищи? Где это видано! Коммунист—и самогонщик! Смотреть невозможно! С этим злом надо бороться самым решительным образом. В тюрьму таких товарищей. За решетку! И потом в деревнях партийные страдают политической безграмотностью. Какие же это руководители крестьян, когда они сами ничего не знают? Сами кроты слепые. Меня это удивило. На некоторые вопросы партийные давали такие ответы, что ахнуть только оставалось. Такому безобразию тоже надо положить конец.

В большом волнении, с вспыхнувшими румянцем щеками, этот правдивый товарищ вернулся на свое место. Я быстро оглядел пошехонских партийцев, надеясь увидеть взрыв понятного возмущения. Но ничего подобного не случилось. Тихо. Все участники с'езда спокойно сидели на своих местах. О, они были даже слишком равнодушны! Лица их как бы говорили: «Эх, ты, новичок, новичок! Выскочил, чудак этакий. Подумаешь, какие новости нам поведал! Поживи тут с нами подольше,—не то еще увидишь!» И, наконец, среди спокойных и деловитоприлизанных речей других ораторов, слова и тон бывшего красноармейца-кавалериста прозвучали даже и не совсем деликатно и будто немножко оскорбительно. Сидят пошехонские старожилы, люди солидные и со стажем немалым—и тут—на, тебе!—вылетел парень, открыл Америку! И, как бы чувствуя неважное к себе расположение собрания, силь но нахохлился и ушел в себя товарищ Порошин. Меня потянуло

к нему, и я уселся с ним рядом. После двух-трех вопросов шопотом я узнал, что этот человек крепко страдал в родном Пошехонском краю. За семь лет пребывания в рядах Красной армии он из растяпистого пошехонца превратился в решительного, твердого и дисциплинированного коммуниста. Мне очень хотелось поразведать у него на счет жизни в пошехонских селах и деревнях, но он скоро сделал категорический жест, указующий, что на собраниях личных разговоров не полагается. Тогда я пригласил его к себе. Он выразил живейшее согласие.

Из докладов и прений по ним я узнал много интересных фактов из жизни заброшенного Пошехонья. Один товарищ сообщил, что в некоторых волостях сильно крепнет комсомол.

— Я должен отметить, что политическая грамотность комсомольцев значительна. Они идут впереди иных членов партии. Происходят иной раз столкновения. Присылают в волость партийца для работы среди комсомольцев, и тут оказывается, что ученики больше знают, чем их учитель. Они могут многому поучить его. Получается кутерьма. Молодежь начинает острить, смеется, шутит,—старший товарищ сердится, призывает к порядку, напоминает о партдисциплине. Надо обратить внимание на это явление. Коммунисты должны знать больше комсомольцев. Тут нечего тыкать в нос партдисциплину.

Новый оратор поведал, что, к сожалению, не все деревенские комсомольцы стоят на высоте приличия. Некоторые ведут себя неважно.

— И самое худшее, что такие заражают хороших парней. Хорошие комсомольцы портятся и разлагаются, как от яду какого. Мне известны факты, когда хорошие ребята возьмут да и выкинут такую штуку, что хоть бы и не смотрел. Глаза у тебя слепнут.

Узнал я еще, что в некоторых волостях есть совершенно деморализованные коммунистические ячейки; в одной волости, Пролетарской, так и вовсе нет никакой ячейки. Ребята там окончательно проворовались, пропили все, и кое-кто из них за это посажен в тюрьму. В другой волости члены ячейки тоже сильно порастрапились и еще головы позадирали и зубы оскалили:

— Посмей кто нас проверять, мы тому покажем!—грозили они. И уездные ревизоры боялись ехать к ним.

— Еще застрелят бандиты!

Но тут, в опровержение такой постыдной трусости, выступил один товарищ. Он громко заявил, что ревизия в этой волости уже была, и виновные понесут наказание. Нашлись, словом, храбрые люди...

— Инструкторский отдел уездного комитета одно время очень плохо работал,—заявляет следующий оратор.—Бывало так, что отдел был и совсем без людей. А какая же может быть работа без всякого руководства?

— А что делается в женской области?—звучит с трибуны новый голос. — Да почти совсем ничего. Смешно сказать: в иной волости женотделом ведает мужчина! Да и волостных женотделов у нас всего только три.

Затем пошехонский агитпроп получает замечание, что вот за последнее время совсем прекратился в уезде приток новых членов партии. Мой свежий знакомец, товарищ Исаев, у которого так жарки полуторасаженные печи, передергивается на своем месте. Ведь это он заведует пошехонским агитпропом и виноват в том, что вот не растут коммунистические силы в Пошехонье.

Сделав несколько резких движений, будто в его тело запустили острую иглу, товарищ Исаев замирает, но в глазах его сильно засверкал живой огонек,—несомненно он стал готовиться к возражению. Он потом, действительно, возразил. Быстро тараторя, он познакомил собрание с рядом предприятий уездного агитпропа. Тут поспешили в довольно значительном количестве избывчальные, библиотеки, доклады, лекции с туманными картинками, книги, журналы, газеты... Нет, товарищ Исаев сделал все, что было в его силах и средствах.

— Так где же кроется действительная причина прекращения роста партийных сил в уезде?

И один коммунист, крестьянин, берется об'яснить эту причину.

— Наш уезд,—уверенным тоном говорит он,—можно сказать, почти весь крестьянский. Рабочего элементу очень мало. Фабрик и заводов, кажется, всего полторы штуки. Все крестьяне и крестьяне. И вот, к примеру сказать, какой-нибудь крестьянин хочет вступить членом в наши ряды. Ну, ему сейчас в нос: «А есть у тебя знакомые коммунисты, что хорошо тебя знают? Ведь прежде всего рекомендация нужна». — Конечно, у нашего крестьянина не найдутся хорошо знакомые коммунисты. Где он их найдет верст за шестьдесят отсюда? Глухо, темно, ни одной живой души кругом, не то чтобы там коммунист какой. — «Нет у меня никакого коммуниста», — скажет желающий вступить в партию. — Ну, тогда проходи, брат. Мы принимаем только по уставу. Всего хорошего! Немало я таких встречал, что вот хотят вступить в партию да не могут. Нет у них никакой партийной рекомендации.

Здесь срывается с места один очень живой человек средних лет. Он говорит с большой искренностью:

— Нам нельзя отказывать таким. Мы должны их принимать.

— А каким путем? — раздается вопрос с места.

— А вот таким. Пришел к тебе человек. Хочет вступить. А ты не гони его, а возьми да изучи. Хорошо изучи. А потом рекомендуй. Изучи и рекомендуй. Вот и все!

Всплывает на партконференции еще одна правда. В сердцах деревенского Пошехонья до сих пор живут еще боли и не ступевались досады, порожденные в тревожные критические и тревожные месяцы гражданской войны. Коммунисты того времени, производившие продразверстку, не любы пошехонскому крестьянству и авторитетом не пользуются.

— Да, не пользуются,—говорит солидного вида оратор.— Совсем другое с коммунистами двадцать второго и третьего года. Такие чрезвычайно уважаются. Крестьянство идет к таким с открытой душой. Хороший коммунист в деревне считается золотым человеком. А крестьянство хорошо умеет разбираться. С плохими коммунистами и скверными комсомольцами у нас ведется борьба. Таких непригодных беспощадно выбрасывают из партии. Так дело обстоит в нашей Первомайской волости.

Работа партконференции продолжается. Участники ее рубят правду-матку, все темные пятна партийной жизни показывают без малейшей утайки. А из-за спины небольшого, упорно воющего за новую жизнь коллектива коммунистов выглядывает самоцветная и многоликая обывательская жизнь, этого отброшенного от большой культурной дороги, уезда. Свообразная, местами совсем безобразная, совершенно дикая, часто глухо-немая, мрачно-серая, редко новая—эта обывательская жизнь широко развернулась передо мной на следующем за партконференцией уездном с'езде советов. Устами делегатов, прибывших из всех углов Пошехонья, были нарисованы картины, где пестрели все краски, все тона, от самого унылого и печального до ярко-жизнерадостного, революционного.

### III.

#### С'езд Советов.

На уездный с'езд советов делегаты не с'езжались, а сходились, потому что нет ничего убийственнее пошехонских проселков в недели и месяцы весенней распутицы; болота оттаявшего снега выходили из своих границ, заливали все дороги и превращались в грязные озера. Можно было передвигаться, прыгая с лоб'а на лобок, и только днем, — ночью самые смелые и прекрасно знакомые с местностью не рисковали

покидать свои убежища. Но и те делегаты, деревни которых находились вблизи большой, хорошо вымощенной дороги, шли пешком на с'езд. Ничего им не отпущалось на путешествие в город.

Ужасающая распутица вызывала даже сомнения: соберутся ли все делегаты? Особенно сомнение это касалось делегатов тех волостей, что находились от города на расстоянии 60—70 и более верст. Прибудет ли председатель Люксембургского волисполкома? Ведь ему придется шагать полных семь десятков верст по едва проходимым тропинкам. И вообще соберутся ли все делегаты в такую непогоду? А что станет с какой-нибудь делегаткой из школьного персонала,—как она доберется до города?

Но, видно, тяга была сильная. Еще накануне с'езда полностью сошлись пошехонские общественники. А делегаты из отдаленной Люксембургской волости пришли еще раньше тех, что жили поближе. С мужчинами приплелись и делегированные женщины. Пришла и школьная работница Татьяна Овчинникова. В высоких и тяжелых «мушницких» сапогах она отшагала 42 версты. Целый день она месила грязь и, задравши юбку, купала ноги в водах пошехонских болот, попадая в глубокие ямы и набирая воды в сапоги. И она не была единственной представительницей женщин,—на с'езд их явилось больше десятка и среди них находились особы, далеко не блистающие железным здоровьем, но с крепкой волей к труду на пользу общественную.

— Дорога ужасная... Казалось, что и дойти невозможно... Вот-вот завязнешь и не выберешься... Но надо было итти. Преодолевали и добрались!

На с'езде мне предложено было занять место за столом, отведенным для редакционной комиссии. Едва я уселся, как явились два члена этой комиссии. Лицо одного было неестественно красным и даже с багровыми оттенками, и темные глаза, тоже неестественно блиставшие, несколько выпирали из орбит, как будто им было там очень тесно. Как только этот член редакционной комиссии занял место за столом—мгновенно разлился чрезвычайно крепкий и отвратительный запах очень скверного самогона. Дохнув несколько раз свободно, пьяный человек заметно сконфузился, отвернул в сторону багряное лицо свое, но это его не спасало: неприятный запах разливался вокруг. Тогда он встал и нетвердыми шагами сошел со сцены, в центре которой заседал президиум. Я пожалел беднягу,—он никак не ожидал, что за его столом очутится представитель печати из центра.

— Кто он такой?—обратился я к другому члену редакционной комиссии, симпатичному на вид малому и совершенно трезвому.

— Председатель вика...

Он пробормотал еще и его фамилию, но совсем невнятно.

— Коммунист?—спросил я.

— Да-а...

— Однако!..

— Случается.

Начались доклады. Они были обычны. То-то сделано, а то и это предстоит еще сделать. А такое-то мероприятие невозможно немедленно провести в жизнь, потому что не хватает средств. С докладом о делах уезда за истекший год выступил председатель уездного исполкома, товарищ Еранский, уже обреченный на увольнение за малодетельность и любовь к выпивке. Здоровенный и красивый детина, лет двадцати восьми, гортанным голосом просто и ясно изложил суть дела. Посыпались маленькие цифры, маленькие факты, имеющие, однако, большое значение для жизни уезда. Успехов, впрочем, было очень немного, не хватало средств. Дефицит и дефицит. Доходы ничтожны в сравнении с расходами. Бедность так и прет из всех щелей. Но все же есть успехи.

— Число безработных снизилось. Было их 312 человек, а теперь—

Двадцать два человека, получивших работу в Пошехоньи—это уже немалое событие! Явно, что произошел перелом—и жизнь налаживается.

После докладов—прения, и в них с большей рельефностью выявляется жизнь уезда. В волостях много всяких несурзностей. Комитеты взаимопомощи работают очень плохо. Многие председатели растрачивают с трудом собранные крестьянские рубли. Доверие к комитетам среди крестьян падает.

Деревенская кооперация в чрезвычайно безотрадном состоянии. Кооперированы всего десять процентов населения. Семьдесят пять процентов кооперативов убыточны. Председатели и правления их творят неслыханные растраты. Крестьяне боятся кооперативов. С растратчиками не расправляются как следовало бы, и, прогнав из одного кооператива, принимают в другой, и в скором времени выясняется новая растрата. У одного вора, вместо того, чтобы посадить его в тюрьму, взяли вексель на шестьсот рублей, а он удрал неизвестно куда. Ворующие правленцы кредитуют своих близких на большие суммы, и никто из них не возвращает взятого. Общие собрания членов собираются один раз в год. Если проворуется какой-либо коммунист, то пошехонцы-крестьяне сильно ожесточаются на всю комячейку и даже на партию в целом. И когда ячейка выставляет нового кандидата в правление кооператива, то крестьяне решительно протестуют:

— Не надо нам вашего. Мы лучше уйдем все, а тогда вы назначайте.

Комячейка уступает, избирается «свой»—и он через самое небольшое время сильно нагревает свои руки, приводя членов в немалую досаду.

— Вор на воре сидит и воров погоняет! Хоть ты что тут!

И жалуются крестьяне:

— Сколько мы ни стараемся, никак не можем найти хорошего человека. Все мошенники и мошенники!

И опять они выбирают зажиточного и решительно выступают против коммуниста. И опять этот зажиточный обирает их...

Растраты разлились по всему уезду. В каждом кооперативе недочет. От небольших сумм в сотни рублей до тридцати и больше тысяч. Стонут крестьяне, сердятся:

— Ведь оно-то и есть, что несешь ведь последнее, последний рублишко, а оно!...

А членам правлений плевать на все. Они пьянствуют, роскошествуют, в поездках за товарами тратят солидные суммы. Ездят в Рыбинск не иначе, как на автомобиле и не на грузовом, а обязательно на легковом, чтобы было поудобнее да помягче. О дешевых бесрессорных телегах и слышать не хотят. Приказчики тоже не отстают от председателей и членов. Без учета меняют товары на самогон и распивают тут же в лавках.

Опротестованные векселя—обычное явление в Пошехонском краю. Трезвые головы требуют поголовной ревизии всей пошехонской кооперативной сети.

— Можно быть уверенным в том, что множество кооператоров попадут на скамью подсудимых.

А пока в производстве у следователей Пошехонья всего только семнадцать дел о растратах, но это еще слишком небольшая цифра—и здесь привлечены только те молодцы, что уж слишком откровенно вели свои преступные операции.

И в результате от всего—пассив в девятьсот тысяч рублей. Это при активе в девятьсот шестьдесят тысяч!

Жуткая кооперация в Пошехонье. Нет честных людей, которые взяли бы ее в свои руки. Нет дельных людей-общественников. Страшный романовский режим тягостно отзывается на злосчастном краю.

В пошехонских деревнях, благодаря сравнительному обилию рога-

того скота, значительно развито маслоделие. Но и тут немало бестолковщины, неопытности, полнейшей неорганизованности: У маслоделов тяготение к слиянию с кооперацией, потому что нет другого пути для экспорта своего производства,—но пошехонская кооперация, это темное пятно, всячески открепивается от слияния с маслоделами.

— От молочной промышленности нам надо отделиться, чтобы не погибнуть!—кричат горе-кооператоры.—Молочная промышленность—это страшный бич кооперации. Масло вырабатывается скверное и за границу нейдет. Надо совершенно выделить эту молочную промышленность.

Но тут, в некоторых волостях, крестьянство упорно не хочет этого выделения. Крестьянство жаждет какой-ни-на-есть общественности. Потому что, в противном случае, придется крупные хозяйственные об'единения в пятьсот-шестьсот коров разбить на ничтожные мелкие в тридцать-сорок голов скота. И тогда производство сделается убыточным.

А как осуществляется в Пошехонском уезде лозунг:

«Лицом к деревне»?

В иных деревнях он не осуществляется ни в малейшей степени. Даже и разговоров на эту тему не слышать. Члены виков и комячейки не могут ясно представить себе, что им нужно делать. Нет ясных директив от уездного центра. Во многих местах жалобы на волостное начальство. Волокита, обиды, пьянство, неразбериха во всем, затяжка крестьянских дел годами, особенно земельных, бесплодные разговоры о смычке, грубость.

— Я вам приказываю!..

— Я диктую!..

— Не разговаривать!..

Иной начальник, войдя в раж, стучит кулаком по столу и яростно топает ногами.

— Молчать!..

И крестьянин молчит и только в затылке чешет. Не вновь ему это занятие. И хуже всего приходится беднякам. К ним пристали все кары по налоговым делам. Их «описывают». А они чуть-что не попрошайничают. А состоятельные крестьяне только посмеиваются в бо-роду.

— Во-на, как советская власть разделяется с беднотой-то!.. Смех смотреть-то!

Состоятельные крестьяне в большом дружеском контакте с иной волостной властью. Из девяноста описей, произведенных в Давыдковской волости, произвели только по одной продаже имущества и у самого бедного крестьянина. С одной бедной вдовы, у которой изба на курьих ножках и семеро ребят мал-мала меньше,—непреренно хотят стянуть двадцать три рубля налога. Лошадь у вдовы пала, имущества никакого. И два раза описывали ее имущество, вернее, верхнюю копоть на стенах худой избенки.

— Где она возьмет двадцать три рубля?—задают вопрос председателю Давыдковского вика.

И этот темный человек, пьющий самогон, говорит:

— Это верно: с нее ничего нельзя взять...

— Так зачем же вы нажимаете?

— Да надо двинуть вперед налог...

Рекой льется самогон. Борьба с ним самая ничтожная. Да и как бороться волостным властям, когда сами эти главари глушат вредную влагу до-отказу. Милиция отбирает аппараты, посуду, кадки, котлы, ведра, сдает все это комитету взаимопомощи, а тот продает по дешевке скупщикам-самогонщикам. Так происходит, по крайней мере, в той же Давыдковской волости.

И еще выясняется одно черное пятно в уезде: до невероятных размеров развито хулиганство. Свирепствуют драки с ранениями и убийствами. Деревенская молодежь почти поголовно принимает участие

в яростных побоищах. В праздники на беседах и гуляньях каждый паренёк считает своим долгом запастись чем-либо: кинжалом, долотом, топором, ножом или железной перчаткой, фомкой, а иногда и револьвером. От какой-нибудь пустой причины или без всякой причины затевается драка,—парни одной деревни бьют другую. Рождается месть. На следующем празднике она прорывается в бурном и неожиданном налете на прошлогодних победителей.

И недавно в Пролетарской волости пьяная банда парней, вооруженная кинжалами и топорами, во главе с известным в округе хулиганом Панькой Косым, налетела на мирно гуляющую в воскресный день молодежь соседней деревни. Началась жестокая расправа. Ранены были одиннадцать человек. Один из них в тяжелых мучениях умер. Сестра его, бросившаяся на защиту, была тоже изрезана. Милиция отсутствовала. Бандя возвратилась домой и спокойно зажила по-мирному. Много трудов стоило одному товарищу договориться об аресте этой банды.

Крестьяне окрестных деревень Давыдковской волости горячо обсуждали это происшествие. И сильно удивлялись крестьяне, что так слабо борется советский суд с хулиганами.

— За некоторыми парнями числится по два убийства, а они гуляют на свободе,—говорили крестьяне.—И все осужденные за убийства больше трех месяцев не сидели. Хорошо бы, если бы губернская власть выселяла бы таких в Нарым, Соловки или в Мурман. Или надо применять строгое наказание: расстреливать неисправимых хулиганов и убийц. Тогда стало бы потише.

Тяжко деревенской женщине в Пошехонском краю. Страдает она несказанно. Работы среди крестьянок почти нет. Никаких попыток к раскрепощению их не было. Женщина забита и равноправием не пользуется. Она покорна, она раба и «во спасение души своей» усердно молится богу. Если какая-нибудь фигура из уездного центра заскочит на пять минут в отчаянное деревенское захолустье и начнет нести сладкие речи о красивой свободной жизни, о прелестях нового уклада жизни, то тут деревенская мученица только криво улыбнется и тихо промямлит:

— Хорошие слова говорите, а вот вы только уедете, так нам достанется от мужей, зачем это мы вас слушали. Достанется же нам на орехи.

Избиение мужьями жен—обычное явление в Пошехонье. Бьют их пьяные, бьют трезвые, бьют любя, бьют по причине и без всякой причины.

— Баба—не человек! Бабу бить надо!

И в редкой избе не воет эта «баба». Но не одни тупые крестьяне считают своей обязанностью смертным боем бить своих жен. Этим «делом» занимаются и некоторые представители деревенской власти. Да и в самом городе рукоприкладство мужей довольно заурядное явление. Но о городе после.

Темная деревенская женщина ищет спасения в религии и в так называемый великий пост спешит к попу, часто тоже пьющему самогон. Но поп этот в почете у женщин. За него они готовы в огонь и воду. Это ничего, если батюшка так налижется, что вывалает рясу и рожу в грязь. Ничего и то, что он дерет больше деньги за требы. Ведь нет в деревне другого утешителя, нет другого ангела-хранителя. И до сих пор верят пошехонские крестьянки в чудеса господни.

Среди ряда волостей Пошехонского уезда, где жизнь так нелепа и бесполова, где едва-едва приметны начала нового, революционного быта,—совершенным исключением является волость Ермаковская.

В тех же условиях, на такой же земной коре живут ермаковцы. Попивают даже самогон, но в меру. И администрация выпивает иногда, но тоже в меру. Дела отдается здесь достаточно внимания. И дела творятся такие, что даже непонятно делается: откуда идет прогресс примерной Ермаковской волости. Но тут простое разрешение сей задачи: нашлись среди ермаковцев несколько благомыслящих голов и на-

шли эти головы хорошую почву для проведения в жизнь советских идей. Тогда как в какой-нибудь Пролетарской волости крестьянству и в голову не придет построить нужную до зарезу школу первой ступени,—ермаковцы, имея уже четыре школы первой ступени и одну семилетку, строят еще пять начальных школ. И строят сами крестьяне, на свои кровные деньги. Нечего говорить о библиотеке, о читальне,— в Ермакове есть даже Дом Крестьянина. А этого дома до сих пор нет в самом уездном городе Пошехоны! Но в Ермакове есть еще ремесленная школа, о которой так пеклась одна пошехонская гражданка на городском предвыборном собрании беспартийных. И есть еще в Ермаковской волости замечательный контрольный союз, занимающийся проверкой продуктивности рогатого скота, кормления его, следящий за правильным воспитанием исключительной в Союзе ярославской породы. За размножение племенного рогатого скота, этих знаменитых «ярославок» правительство выдало ермаковцам премию—четыре тысячи рублей, которые по постановлению членов контрольного союза все пошли на улучшение постановки дела.

Вот какая находится волость в том же Пошехонском краю! И это, главным образом, потому, что там нашлось немного разумных людей, правильно и добросовестно выполняющих все постановления пролетарского государства.

Л. ГРИГОРОВ.

---

## Библиография.

**Гавриков. Рассказы на ходу.** Изд. «Земля и Фабрика». М. 1925 год. 154 стр.

В наши дни создавать крупные по размеру художественные произведения дано лишь ограниченному числу писателей, потому что большие полотна свойственны, обычно, эпохам, выкристаллизовавшимся, получившим ясные и законченные очертания, а современная Россия еще целиком охвачена брожением молодых революционных сил, превращающих поверхность жизни в еле уловимую для глаза динамическую зыбь, ежеминутно меняющую свою окраску.

Наша эпоха в искусстве—по преимуществу эпоха этюдов, миговых зарисовок и снимков. Для синтеза и типических обобщений, за малым исключением художников, еще не наступило время.

Автор, очевидно, хорошо знаком с этой истиной и своим произведениям придал удачную и вполне естественную форму рассказов на ходу, подразделенных на пять отделов: «Семейное», «Коммунальное», «Рабкоровское», «Кооперативное» и «Дивертисмент».

Более других удачны «семейные» и «коммунальные» зарисовки, в которых Гавриков с добродушным юмором подмечает крушение традиций старого быта и народение новой революционной России.

Совсем неудачен стихотворный отдел «Дивертисмент». Но и здесь попадаются насыщенные наблюдательностью строки, которые, не как стихи, а как факты, сами по себе, представляют некоторую ценность.

Но в общем книга довольно удачная. Написанная простым, бойким, газетным языком, она дает целый ряд хороших фотографических снимков с разных уголков нашего нового советского бытия.

Ф. Ж.

**И. Бабель. Рассказы.** Гиз. Москва 1925 г. 108 стр. Ц. 70 к.

В книге Бабеля собраны не все и не лучшие вещи. Она с достаточной определенностью говорит об авторе, об его достоинствах и недостатках. В книге дан цикл «одесских» рассказов о короле налетчиков Бене Крике и куски цельной «эпопеи» конармии Буденного.

Рассказы о Бене Крике проникнуты умной, тонкой иронией и полны ярких описаний, между которыми с редким чувством меры вводится местный жаргон. С радостью отмечаем, что «юшкевичевский» шаблон и обременительные традиции еврейских бытописателей Бабелем решительно отброшены и ни в одном рассказе нет так называемых «стертых» мест.

Все же с гораздо большим интересом читаются «военные рассказы», потому что «Конармия» Бабеля—одно из значительных явлений в художественной литературе о гражданской войне.

Соответственно взятому материалу, автором найдена требуемая высота дыхания, сильный голос и язык повествования, поразительно точный, как приказ, и короткий, как выстрел.

Логкий, крепкий круг фразы, ее сжатость, обрывистость, причудливые метафоры, образы, рсждаемые

чрезвычайно отдаленными, но свежими ассоциациями, исключительная обостренность ощущений, патетическая напряженность, спадающая только к концу рассказа,—все это указывает на прямое родство Бабеля с немецкими экспрессионистами. Я намеренно говорю о родстве, а не о влияниях, потому что в основном автор совершенно самостоятелен и своеобразен. В каждой вещи видны следы напряженной, почти мучительной работы над стилем. В сознании читателя заполнена каждая пауза, надолго заволакиваются эпитеты (напр., «вороватые огоньки»—можно ли лучше сказать о ночных огоньках?), двумя-тремя описательными штрихами он заставляет нас остро почувствовать военную тревогу перед неизвестностью ночного боя: «начдив уже готовился уезжать. Ординарцы стояли перед ним на вытяжку и спали стоя. Спешенные эскадроны ползли по мокрым буграм. «Прижалась наша гайка»,—прошептал начдив и уехал. Мы последовали за ним по дороге в Ситанец.

Снова пошел дождь. Мертвые мыши поплыли по дорогам. Осень окружила засадой наши сердца и деревья, голые мертвецы, поставленные на обе ноги, закачались на перекрестках».

Если говорить о недостатках книги, то прежде всего придется отметить, что автор не совсем вплотную подошел к героическому быту Кон-армии, взял тему не во всей ее широте. Вероятно, очки («очкастым интеллигентом»—иронически называет себя писатель) помешали ему это сделать.

Хочется, чтобы автор наметил некоторые пределы «пафосу плоти», острее сексуальных ощущений.

Бабель обещает надолго остаться в литературе, тем естественнее требовать, чтобы он перешел от разработки эскизов к широкому полотну.

*Н. Б—ский.*

**П. Яровой.** Повесть о человеке. Москва. Гиз. 1924 г. Стр. 147. Цена 60 коп.

Издавая эту книгу, П. Яровой имел очень хорошее намерение. И книге сопутствует такой эпиграф:

«Что я скажу о великом Ильиче, который вместил в себя миллионы

волю. Я склоняю перед ним писательское звание и расскажу простую повесть о таком же «маленьком человеке», как я сам. Это повесть о сиволапом мужике, о том, кого считали получеловеком, кого только Ильич сумел разгадать и двинуть его волю на путь строительства мира».

Так вот, в селе Крутогорове жил такой, звали его Марк Петрович, а по прозвищу «Получеловек». Это прозвище дал ему, конечно, автор книги. Отец «Получеловека» служил некогда у помещика, вздыхал о господе, спрашивая, где правда. Искание правды перешло по наследству, как заявил автор, и к его сыну, Марку Петровичу. Тот почему-то обратился за поисками правды к учительнице, потом к попу. Правды, надо сказать, ни у той, ни у другого не добился. Тем временем шла война с немцами. Марк, неведомо зачем, бросил жену, ребят, и утек из дома. За время его отлучки жена его Марфа сошлась с пленным австрийцем. Марк вернулся домой, принимал участие в февральской революции, в гражданской войне, покуда не укрепились соввласть.

С темой перерождения «получеловека» в человека, хотя бы и маленького, П. Яровому (пусть он тоже маленький, как он заявил) справиться не удалось.

Неубедительны и разговоры фигурирующих в повести людей. Жена Марка, выросшая в деревне, разговаривает всерьез в трагический момент так:

«Теперь уж не посадят тебя, мой лохматенький мужичок».

А вот П. Яровой посадил себя, издав плохую книгу».

В книжку вошли еще две вещи: «В горном блеске» и «Старики», написанные не лучше «Повести о человеке».

*В. Л.*

**Петр Орешин.** «Соломенная плаха» Стихи. Том 2-й. Гиз. 1925 г. Библ. соврем. русской литературы. Страниц 215.

«Соломенная плаха», соломенная Россия, но не потому, что она—Скифия, вековая Азия, как неизменно получалось у символистов. Нет. Соломенная только потому, что

мы, русские, бедны, что в наших дореволюционных условиях мы могли много думать, но мало работать. Поэтому труд, как единственный выход, который оденет «голоштанного» мужика и заменит паутину дряхлого кивота «врезанным в рамку Ильичем» — вот центральная тема стихов Орешина. Поэт, с детства сроднившийся с теми, «кто пьет и плачет по полям», правильно понял и повел свою поэзию по пути социальных мотивов.

Орешин — подлинный крестьянский поэт: каждую строчку своих стихов он насытил деревенским пейзажем, мужицким бытом или диалогом (хотя бы такие образы: «зари сквозная бровь», «ветер синим рукавом шмурыгнул невзначай по глазу», «звонит к вечерням и обедням сухой в подряснике бобыль»). Его деревня — живая, советская; мужик не уперся в «родительскую избу»: пусть иногда по смешному, но он приспособляется к новым порядкам. Волоострой председатель («Председатель») не чурается комсомола, города. Даже больше — он сознает, что и на заводе работает такой же мужик, «кузнец и земледелец», что они оба — из одной семьи («Смычка»). — Такой же мужик у Орешина и в городских ремесленниках («Песня веселого стекольщика», «Портновская», «Песня ломового извозчика»). Если же деревенскому герою покажется, что он «ненавидит железные небоскребы города», то автор перенесет эту ненависть на тех, кто заставил его «не знать жизнь отдыха от тачки» («Жизнь»).

Стихи Орешина написаны мастером: равнообразная строфика (от двухстишия до семистишия), различные метры, оригинальные крестьянские образы. Автор знает и использует напевы русской песни стих. «Волга»; правда, этот мотив был уже в песнях Кольцова, частушки (стих. «В Москве», «Качели»). Главное достоинство всех вообще его стихов — сюжетность: они говорят о конкретных, ярко осязаемых людях и вещах. Из недостатков можно указать на изредка встречающуюся растянутость (главным образом, в стихах 1918—1919 г.г.).

Лучшие стихотворения составляют отделы: «Самовольные цветы», «Со-

ломанная плаха» и «Волчья жизнь». Из псам сборника по формальным достижениям наиболее значительны «Уезднос» (очень удачный портрет провинциального зава) и «Великий чудак». Слабее других — «Метель»: очевидно, потому, что автор поставил несвойственную его таланту задачу — изобразить психологию русской интеллигенции после Октябрьской революции. В результате — не поэзия, а публицистика.

В итоге — общечеловечность тем и культурность стиха делают «Соломенную плаху» Орешина ценным вкладом в библиотеку современной русской литературы, а тщательность издания еще более увеличивает ее удельный вес на нашем книжном рынке.

*В. Красильников.*

**Георгий Якубовский. Песни крови.**  
Госиздат. Москва 1925 год. Стр. 100.

Не случайно строфика и образы Якубовского частью напоминают строфу и образы Верхарна. Русскому пролетарскому поэту, конечно, было очень трудно преодолеть влияние бельгийского певца индустриального города. Особенно трудно было это сделать потому, что его темы оказались родственными, созвучными Верхарновским темам. Так же, как Верхарн, Якубовский пишет о «миллионах человеческих неведомых рук, с грохотом катящих камни труда», о «Восстании погибших», и всегда его стихи — труд городского поэта. Но автор «Песен крови» сумел насытить свои социальные темы конкретностями новой послевоенной мировой обстановки, — и насытить не только рабочей кровью, но и рабочей победой (стих. «Родильный крик»). Эта социальная насыщенность делает книгу стихов Якубовского актуальной книгой нашей поэзии, достойной особенного читательского внимания.

Наиболее значимыми вещами в «Песнях крови» надо признать те стихи, в которых поэт обусловил классовую социальную настроенность своих тем яркими картинками труда и города.

Таковы: поэма «Кровь рабочая» (очень сильные части — «Кровь стру-

ится далеко» и «В госпитале»), «Стихи о чахотке», «Городская мистерия», «Газета» (и др. стихи из отделов, «Кровь рабочая», «Родильный крик»: «Усилия»). Стихи же отделов: «Колесо» и «Ритмы города» значительны. Философия Якубовского выдержанно материалистична и достаточно глубока; поэту следует, продолжая работы в данном плане, делать их проще, понятнее, доказательнее для читателя (сейчас они иногда очень тяжело написаны, — например, стих. «Материнство материи»).

Якубовский часто пишет свободным стихом, но он прекрасно знает, какой тщательной шлифовки требует такой стих, чтобы не стать нудной прозой (обязательные условия: звукопись, отточность эпитета, свежесть образа и т. д.). Как обыкновение, его стихи оживлены оригинальными городскими и индустриальными образами (война—фабрика калечества; РКП—пекарь миров; настойка из негров, вино из венгров, и т. д.), звукописью («Соли слез будет вдовам вдоволь», или «Безмерная сутолока суток» и т. д.), так что все встречающиеся досадные исключения (сюда относятся, например, такие образы, как «живорезный ад», «вокзалов междометия») тонут в общей массе четко сделанных строчек.

В русской пролетарской поэзии урбанистичные индустриальные стихи Якубовского, впервые смело затрагивающие сложные философские проблемы, занимают, без сомнения, своеобразное, интересное и важное место.

*В. Красильников.*

**Венок Белинскому.** Сборник под редакцией Н. К. Пиксанова. «Новая Москва». 1924. Стр. 285.

Сборник возник в связи с поминками по Белинскому в 75-ю годовщину его смерти (в 1923 году). Основным ядром его и являются речи, произнесенные в торжественном заседании А. В. Луначарским, П. С. Коганом, П. Н. Сакулиным и А. И. Южиным-Сумбатовым. В своем очерке Луначарский отмечает в личности Белинского элементы резкой

общественной критики, искание средств для извержения существующего гнета и обращение к социализму, как к наилучшему разрешению вопроса. П. С. Коган намечает живыми чертами внутреннюю драму Белинского на пути «от идеализма к материализму», когда утопический социализм уже не мог удовлетворить писателя, а «коммунистический манифест» еще не появлялся (появление его совпало со смертью великого критика). П. Н. Сакулин в изящной статье «Проблема искусства» связывает эстетизм Белинского с художественными запросами наших дней. Наконец, А. И. Южин дает авторитетное мнение специалиста о театральных писаниях Белинского. Этот отдел—наиболее округленная часть сборника.

Ему предшествуют «новые тексты Белинского», т.-е. ряд статей и заметок, не вошедших в «полные собрания». Весьма ценно впервые публикуемое здесь письмо Белинского к Боткину 1838 г. (из Москвы).

Последний отдел отличается большим разнообразием материалов и даже некоторой пестротой. Тут и музыка, и Сикстинская Мадонна, и Тургенев, и Диккенс, и Блок, и Лондонский, и Некрасов, и Штирнер, и многие другие. Тем не менее, разнообразность тем не препятствует научности их разработки, и некоторые статьи этого отдела произодят впечатление углубленных монографических исследований. Отметим особенно работу М. Алексеева «Белинский и Диккенс», свежую по постановке основной темы и разворачивающую обширную главу из истории английского влияния в русской литературе.

Сборник украшен рядом иллюстраций и издан тщательно. Цена его (4 руб.) все же непомерно высока и, конечно, сильно затормозит его распространение. Об этом можно только пожалеть. Как все работы, выходящие под редакцией Н. К. Пиксанова, новая книга о Белинском отличается свежестью материалов, точностью обработки и представляет для всех интересующихся историей русской литературы высокий интерес.

*Л. Г.*

О. Генри. «Четыре миллиона». Перев. Зин. Львовского. Изд-во «Мысль». ЛНГ. 1925. Стр. 187.

Есть два рода художественной литературы: книги серьезные («идейные») и то, что называют материалом «для легкого чтения». К книге второго типа подходят, как к средству отдохнуть, развлечься—не более. Такая книга не должна быть рассчитанной на особенно серьезное к ней отношение, должна быть достаточно острой и занятой, чтобы заинтересовать, и достаточно поверхностной, чтобы могла легко забыться. Читатель-мещанин не прочь и расстрогаться, но слегка, — настолько, чтобы настроение стало от этого только приятнее. Условия ускоренной жизни современного большого города вызвали еще одно требование—требование максимальной сжатости, которое, в свою очередь, влечет усиление заостренности.

Новеллы Генри более, чем вещи каких-либо других современных писателей, отвечают этим требованиям. Они сжаты, остроумны, иногда — мелодраматичны, в меру сентиментальны. Центр тяжести их лежит в оригинальности сюжета, в анекдотизме положений. Возможность самых необычайных, самых неожиданных сцеплений обстоятельств—такова предпосылка, объединяющая большинство из них.—«В жизни бывают всякие случайности,—как бы говорит своим читателям Генри,—и никто от них не огражден».—Но забавных и даже приятных случаев больше, чем неприятных; наконец, и печальные эпизоды передаются Генри так остроумно и легко, так «мило», что никого не заставят взволноваться, опечалиться всерьез. При всей своей сюжетной заостренности, новеллы Генри очень поверхностны. Это—занятые истории, которые больше, чем на занятость, и не претендуют.

Генри можно признать писателем американского мещанства. Об этом говорят: сентиментальность некоторых из его новелл, на которую так падок мещанин; рассыпанные везде крупинки быта, главным образом, — мещанского; мелкобуржуазная идеология, нередко пропитывающая новеллы (идеал большинства персонажей—богатство или семейное счастье,

«домашний рай»). Но сильный налет анекдотизма, придавая рассказам *легковесность*, — чем удовлетворяется потребность читателя в материале для легкого чтения, — делает и быт и психологию *омитературенными*, сглаженными, «ненастоящими», заставляет ощущать их, как почти до конца условные.

Поэтому эти новеллы не могут заразить своей идеологией. Они могут заинтересовывать, но не убеждать.

Лучшие из них (именно те, в которых отсутствует сентиментальность) найдут читателей и в рабочей среде. Не удовлетворяя потребности в более серьезной литературе, не будучи в состоянии особенно захватить и взволновать, они могут доставить немало веселых минут рядом неожиданных сцеплений обстоятельств, рядом остроумных сюжетных трюков.

Часть вещей, вошедших в эту книжку, уже появлялась в печати. Издана книжка не блестяще: есть опечатки.

Я. Фрид.

Иоанн Нейфельд. Достоевский. Психо-аналитический очерк под редакцией проф. Э. Фрейда. Изд-во «Петроград». Л.-М. 1925.

Психоанализ имеет многочисленных сторонников, и метод знаменитого венского профессора признан теперь широкими кругами специалистов. Но если учение Фрейда получило огромное значение в области психопатологии, его выводы должны быть сильно ограничены в сфере изучения литературы и искусства, куда сильно склонны заглядывать подчас фрейдисты. Работы самого Фрейда о Леонардо-да-Винчи, об анекдоте и каламбуре явно страдают недостатками дилетантского подхода к вопросам поэтики, искусствознания, теории литературы и проч. Для специалистов данных областей они не убедительны и не нужны. Это, конечно, еще заметнее на работах учеников Фрейда, воспроизводящих его приемы анализа без блестящей интуиции и дарования учителя. Это особенно заметно на «психоаналитическом очерке» о Достоевском, вышедшем в серии работ, издаваемых под общей редакцией Фрейда, и принадлежащем перу его ученика Нейфельда.

По мнению автора этого небольшого исследования, «ключ психоанализа» раскрывает все загадки характера и творчества Достоевского. Таким «ключом», по его мнению, является тот психоаналитический случай, который в терминологии фрейдизма обозначается, как «комплекс Эдипа». Под этим термином понимается влечение мальчика устранить отца и стать вместо него мужем своей матери, т. к., по мнению психоаналитиков, первый объект сексуального влечения всякого ребенка—родитель другого пола. Основываясь на несомненной биографической черте—приязни Достоевского к нежной, кроткой и больной матери, рано умершей, и на одновременной вражде его к жестокому, властному и скупому отцу, убитому крепостными за жестокое обращение, Нейфельд строит свое толкование о Достоевском-Эдипе. Сложный характер писателя и все его творчество вытекают, по мнению исследователя, целиком из эротического и кровосмесительного влечения. Революционная деятельность Достоевского в молодости и его консервативные убеждения в старости, патриотизм Достоевского и его интерес к православной церкви, история увлечений писателя и методы его литературной работы, его страсть к азарту и его отвращение к алкоголю—решительно каждая черта его биографии непременно «возникает из комплекса Эдипа». Далее то, что «Достоевский никогда не писал, если ему не было заплачено вперед», оказывается, можно объяснить тем же ключом: «с явным удовольствием берет он аван под свои произведения» и проч. Не проще ли обратиться здесь от психоанализа к вопросу экономики? Но исследователь неуступчив: «комплекс Эдипа приводит Достоевского в острог и этот же комплекс дает ему возможность выдержать тюремное наказание» и проч. Волшебный ключ подходит решительно ко всем дверям!

Но среди явных натяжек и ошибок (к последним относятся указания на то, что Достоевский оставался «воздержным» до 40 лет; что мы нигде не находим у него описаний Москвы, которые имеются, как известно, в «Подростке»; что

первая жена должна была бы относиться к нему, как к признанному «великому писателю и пророку»—это в 50-ых и в начале 60-ых годов!— что имяне Даровое было родовым и т. д., и т. д.) заслуживает полного внимания первое указание на автобиографичность «Карамазовых», как «*большого романа отцеубийства*». Это очень важное для истории жизни и мысли Достоевского указание. В романе мы находим ряд неразрешенных аналогий с действительной историей убийства старика Достоевского: Федор Карамазов сильно напоминает его характер (это отмечалось уже дочерью писателя Любовью Достоевской), у него четверо сыновей, как и в семье Достоевских, название их имения буквально воспроизводится в романе, каждый из братьев Карамазовых носит явные отражения личности писателя; к этому нужно присоединить, что сам он постоянно ощущал бремя какого-то преступления, тяготевшего над ним и т. д., и т. д. И, если верить дочери Достоевского, что в Иване Карамазове он имел в виду дать собственное изображение, можно заключить, что в своем последнем романе писатель словно бессознательно хотел сказать: «Это я из ревности и жадности убил отца в Чермашне, хотя я сам и не держал ножа».

Если отдельные замечания Нейфельда не лишены, таким образом, интереса, в общем они страдают общим недостатком всех «медицинских» книг о писателях—подменной главной темы и основного материала второстепенным. Нельзя не согласиться с редактором перевода (кстати сказать, весьма небрежного, приводящим цитаты из Достоевского или Страхова в переводе с немецкого!), что знаменитого романиста необходимо изучать в условиях исторической обстановки, социального уклада, борьбы литературных школ и направлений. Все это несравненно более способствует пониманию Достоевского, чем сложные ухищрения психоанализа.

Л. Г.

М. Е. Салтыков-Щедрин. Письма 1845—1899. С приложением писем к нему и других материалов. Под ред.

Н. В. Яковлева. при участии Б. Л. Модзалевского. Труды Пушкинского Дома при Российской Академии Наук. Ленгиз. 1924. Стр. VIII+329+37. Ц. 3 р. 50 к.

Литературная переписка Салтыкова огромна. Издание полного собрания его писем,—говорит в своем предисловии редактор,—«было бы в настоящий момент несвоевременным по условиям государственно-хозяйственным». Собрание писем Салтыкова, изданное трудами Пушкинского Дома, «имеет целью дать основу для будущего полного собрания». Письма, данные в сборнике, охватывают почти всю жизнь Салтыковского писателя. В этих письмах (их более трехсот) заключается богатейший материал для познания биографии и творчества Салтыкова и его эпохи. По письмам устанавливается ряд новых статей Салтыкова, напечатанных анонимно, и вскрывается история создания некоторых его произведений. Большой интерес представляют литературные и общественно-политические отзывы и суждения Салтыкова, щедро рассыпанные в его письмах, острые и выразительные, пощедрински образные и меткие.

Чрезвычайно интересна восторженная характеристика Тургенева, сделанная Салтыковым в 1859 г. после прочтения «Дворянского гнезда», в каждом звуке которого разлита «светлая поэзия». «Да и что можно сказать о всех вообще произведениях Тургенева? То ли, что после прочтения их легко дышется, легко верится, тепло чувствуется? Что ощущаешь явственно, как нравственный уровень в тебе подымается, что мысленно благословляешь и любишь автора»... Но восторженное отношение Салтыкова к Тургеневу с годами становится холоднее. В 1876 году он пишет: «Тургенев—писатель субъективный, и то, что не выливается прямо, выходит у него плохо». А через год Салтыков, говоря о тургеневской «Нови», дает не только холодную, но резкую и злую оценку этого произведения. «Роман этот показался мне в высшей степени противным и неприятным... Я совершенно искренно думаю, что человек, писавший эту вещь, выжил из ума, во-вторых, потерял всякую потребность какого-либо нравственного

контроля над самим собой. Начать хоть с внешней стороны: это—не роман, а бесконечная случайная болтовня, которую можно начать с какого угодно места и где хотите кончить... С внутренней стороны это вещь еще более слабая. Лица консервативной партии (Сипягин, Колумейцев) описаны с язвительностью, напоминающей куаферское остроумие... Что же касается до так называемых новых людей, то описание их таково, что хочется сказать автору: старый болтунище! Ужель даже седые волосы не могут обуздать твоего лгания? Перечтите пасквильные сцены переодевания, сжигания письма, припомните, как Нежданов берет подводу и вдруг начинает революцию, как идеальный Соломан говорит: делайте революцию, только не у меня во дворе... Все это можно писать лишь впадшим в детский возраст»...

Резок и жесток отзыв Салтыкова об «Обломове» Гончарова. Сделанный им в письме 1859 г. к Анненкову: «Прочел «Обломова» и, по правде сказать, обломал от него все свои умственные способности... Бесспорно, что «Сон»—необыкновенная вещь, но это уже вещь известная, зато все остальное—что за хлам! Что за ненужное развитие Загоскина! Что за избитость форм и приемов! Но если нам, читателям, делается тяжело провести с Обломовым два часа, то как же было автору проваландаться с ним 9 лет! И спать с Обломовым, и есть с Обломовым, и все видеть и видеть перед собой этот заспанный образ, весь распухший, весь в складках, как будто на нем сидел антихрист!»... Резкий отзыв дает Салтыков (в письме 1875 г.) о французской школе натуралистов—Золя и Гонкуров: «Это не романтизм, а папостники». Ценно автобиографическое признание Салтыкова о Гейне: «Для меня,—пишет он в 1859 году,—это сочувственнейший из всех писателей. Я еще маленький был, как надрывался от злобы и умиления, читая его».

Краткие и выразительные отзывы даны о комедиях Островского и о многих произведениях народников-беллетристов. Письма Салтыкова дают много ценного для изучения жизни и творчества целого ряда пи-

сателей, его современников: Тургенева, Толстого, Анненкова, Некрасова, Михайловского, Плещеева, Успенского, Чернышевского, Добролюбова, Слепцова, Решетнинова и друг.

В изобилии в письмах горькие жалобы русского писателя на гнет и неистовство цензуры. «Человек, повитый и воспитанный цензурой» — говорит Салтыков о Некрасове и развивает эту мысль, с горечью говоря о себе: «если мои вещи иногда страдают раздвоенностью, то причина этого очень ясная: я — Эзоп и воспитанник цензурного ведомства».

«Я — литератор до мозга костей» — характеризует себя Салтыков, оставивший сыну своему, как известно, завещание «паче всего любить русскую литературу и звание литератора предпочитать всякому другому». Любопытно кратко, в одну строку, письмо Салтыкова в комитет Литературного фонда с предложением в члены своего восьмилетнего сына, который, действительно, и был избран. «Таким образом, — замечает комментатор, — перед нами любопытный образец соединения старо-дворянских традиций, согласно которым было принято записывать сыновей в гвардейские полки чуть ли не со дня рождения, и радикально-народнического преклонения перед русской литературой».

Изданы письма очень тщательно (по подлинникам, с соблюдением всех особенностей орфографии Салтыкова) и снабжены краткими и вместе с тем обстоятельными примечаниями, указателем имен и адресатов. Кроме того, приложен перечень ранее напечатанных писем Салтыкова и даны три редких его портрета.

*Н. Ашукин.*

**В. Комарович. Достоевский.** Издание т-ва «Образование». Ленинград 1925. 64 стр. Ц. 40 коп.

Не скажу, чтобы книжка произвела яркое впечатление.

Написана она молодым, но продуктивным, осведомленным и чутким исследователем, опубликовавшим десятки ценных работ о Достоевском и по биографии, и по изучению текстов, и по идеографии, и по приемам творчества. С другой стороны, книжка включена в серию «Совре-

менные проблемы историко-литературного изучения», — стало-быть, объявлялась подвести точные итоги прежней литературе о Достоевском и твердо определить задачи дальнейших изысканий. И то и другое одинаково своевременно и полезно. Превышшая литература обширна и очень пестра: много хорошего, крупного, но много и всякой дребедени. Толковый путеводитель по ней как нельзя более уместен. А затем замечательные новейшие публикации поэтических текстов и писем Достоевского, воспоминаний и дневников его жены Анны Григорьевны, и других документов и наряду с этим огромный сдвиг в наших общих научно-исторических взглядах и методах, совершающийся теперь, — все это требует нового пересмотра художественного наследия Достоевского и его исторической значимости. Ни Гончаров, ни Тургенев, ни Толстой не имеют теперь такой актуальности, как именно Достоевский, и его огромное влияние на Западе, как и напряженное внимание к нему в Советской России — об этом красноречиво свидетельствуют. Существенно важно поэтому осознать и формулировать проблемы и методы новых исследований, учтя все приобретения нашего времени.

Ни итоги, ни проблемы не установлены в разбираемой книжке с достаточной четкостью и глубиной.

Неясно, какими хронологическими пределами ограничивает свой обзор В. Л. Комарович. Иногда он захватывает и довоенное время, — что и правильно. Однако, старая, дореволюционная литература констатируется неполно и как-то случайно.

Затем в распределении материалов не выдержана система. Неясно, напр., почему книга В. Астрова 1914 года излагается после книги Юрия Никольского 1924 г.

Оценка и характеристика у Комаровича часто туманны, уклончивы. Вот он хочет осветить читателя о статье Э. Радлова «Соловьев и Достоевский», — и мы читаем: статья, «кратко пересказывая внешнюю историю личных сношений Достоевского с Соловьевым, уясняя затем характер их взаимного обаяния («Достоевский искал... в Соловьеве

отвлеченное оправдание своих мыслей, Соловьев же находил в Достоевском... неожиданные и логически не оправданные откровения), противопоставляет, наконец, друг другу, в беглом очерке, философские воззрения обоих мыслителей». Вот и все. В чем тут «взаимное обаяние» и чем противопоставляются философские воззрения Влад. Соловьева и Достоевского, и верно ли это изложено Радловым, — автор умалчивает. Указав, что честь открытия философской содержательности Достоевского «бесспорно принадлежит А. Л. Волынскому, В. Розанову, Д. С. Мережковскому, А. С. Глинке» (Волжскому) и, признав, что «в свое время опыты эти были явлением значительным и плодотворным», Комарович делает только одну оговорку: «Они грешат, однако, неизбежными — в то время — погрешностями: поспешностью обобщений, слишком беглой записью как бы налету схваченных впечатлений». Что у Мережковского, или Розанова, или Волынского было много фельетонной хлесткости и манерности, это, конечно, верно. Но неужели современный исследователь может оговорить в них единственно только «поспешность обобщений» и «беглую запись впечатлений»? И почему это девятисотые годы были тем временем, когда это было «неизбежно»? Замечена Комаровичем юношеская склонность Юрия Никольского к философской стилизации столкновений Достоевского с Тургеневым — в духе идеалистических умствований С. Франка и Н. Лосского (стр. 48, 58 и др. у Никольского).

Впрочем, на идеалистические стилизации Достоевского наш автор реагирует вообще вяло. Изложив талантливую, но весьма «умозрительную» статью Вяч. Иванова «Достоевский и роман-трагедия», Комарович включает: «Здесь собраны и как бы связаны в один узел все проблемы дальнейших работ о Достоевском, при чем три основных метода, применяемых при изучении Достоевского, — философский, биографический и, скажем, «формальный», —

друг другу внутренне соподчинены». Неуж ли-таки все проблемы? Социологическая проблема, однако, у Вяч. Иванова отсутствует.

Она, впрочем, отсутствует и в проблематике самого Комаровича.

В этом отношении характерно то обстоятельство, что, заблудливо и длинно пересказывая часто совсем заурядные, бесцветные работы (напр., статью А. Скафтымова: «Тематическая композиция *Идиота*» — повесть «психологической» мерещковщины и непереваренного «формализма»), Комарович совершенно замалчивает книгу о Достоевском В. Ф. Переверзева, вышедшую двумя изданиями. Для Переверзева не нашлось не только оценки или хотя бы пересказа, но даже библиографического указания. Замолчены и другие опыты марксистского изучения Достоевского.

Отсюда понятно, какое искажение всей методологической и историографической перспективы оказывается в книжке. Социологический, точнее говоря, марксистский метод не нашел себе места в обзоре — ни в итогах, ни в заданиях.

Что касается заданий или проблематики, то и вообще читатель остается в неведении, как тут мыслит Комарович. Неясно, куда же именно, к каким очередным темам должны направиться новые исследования в области биографии, психологии, литературной традиции, художественного творчества Достоевского.

Итак, книжка не оправдывает ожиданий, возбужденных и ее предметом и ее автором. Но, разумеется, будучи отличным знатоком Достоевского, Комарович сумел все же сказать в ней немало полезного. Многие разбросанные здесь критические его суждения будут с пользой восприняты специалистами-словесниками. Рядовому читателю она скажет мало, в чем будет виноват и язык книжки, довольно вычурный (пример: «эта сердцевина в каждом из них только через столкновение со своим антиподом и достигает своего полного обнажения»).

Н. Пясанов.

Редакторы { А. В. Луначарский.  
И. И. Степанов-Скворцов.

Издатель: Издательство «Известий ЦИК СССР и ВЦИК».